



СЕРГЕЙ
АВИЛОВ

КАПИБАРУ ЛЮБЯТ ВСЕ

18+



«Под обложкой — Генри Миллер с русской хтонью».

Андрей Геласимов

Сергей Авилов
Капибару любят все
Серия «Ковчег (ИД Городец)»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68257720
Капибару любят все: ИД «Городец»; Москва; 2022
ISBN 978-5-907483-61-3

Аннотация

Сорокалетний писатель-неудачник и девица легкого поведения отправляются в совместное путешествие к Баренцеву морю. У нее – худенькое тело и кожа цвета кофе с молоком. У него – бесконечная рефлексия и недописанный роман.

Содержание

Часть 1. Петербург

5

Конец ознакомительного фрагмента.

96

Сергей Авилов

Капибару любят все

© С. Авилов, 2022

© ИД «Городец», 2022

Часть 1. Петербург

К сорока годам Сергей Ольховский стал догадываться, что поиски счастья пора прекратить. Кроме болячек, во второй половине жизни должна была вроде бы прийти какая-то мудрость... Приходить мудрость не спешила, да и расставаться с иллюзиями было непросто.

До сих пор ему иногда снилось детство, снился давно покойный отец. В этих снах все происходило на знакомых улицах – на улицах почти сорокалетней давности. На месте современных новостроек стояли деревянные двухэтажки. Кажется, их строили еще пленные немцы. Редкие автомобили тех времен, «жигули» или «москвичи». Понятно, что и страна называлась по-другому. В этих снах Ольховскому существовалось уютно, и просыпался он с сожалением. Никогда уже не будет ни отца, ни той улицы, не говоря уже о стране... Тех чувств тоже никогда не будет! Это неминуемо и обидно. Не будет еще много чего: первого класса, первого курса. Скорее всего, уже не будет рождения сына. Первых его слов и всего того трогательного, что сопровождает первые годы и шаги ребенка. Первых успехов – они самые яркие, хотя впереди ждут успехи покрупнее. И первая любовь не повторяется дважды... Когда-то Ольховскому казалось, что после первой любви вторая будет еще ярче... К сорока оказалось, что это не так.

Он иногда завидовал своему отцу: у отца Ольховский-младший появился, когда тому было уже сорок. Ему некогда было думать, нужно было растить сына, а не заниматься рефлексией.

У самого Сергея скорости были иные: Димка родился, когда Ольховскому только исполнилось двадцать два. Отца, правда, к тому времени уже не было в живых. Теперь сыну шел девятнадцатый год и помощь родителей, как казалось Димке, была ему ни к чему, так что у Ольховского появилась уйма времени на раздумья.

Поиски счастья разбились вдруг на какие-то локальные задачи. Говорят, что после сорока у мужчин на первом месте в списке приоритетов стоит работа... Ольховский с тоской думал о том, что у него вообще нет списка приоритетов.

Несколько лет назад, поздравляя с сорокалетием знакомого поэта, Ольховский написал ему: «Что, перешел на шепот?» Писал ухмыляясь. Теперь вот и сам... Счастья хотелось не меньше, чем раньше, но теперь оказалось, что оно уже было – он его просто не заметил.

* * *

Сергей, сполоснув кисточку, отъехал от стола. Размышлять о жизни и получать за это деньги когда-то было его мечтой. Мечта сбылась, причем вдвойне. Он сделался автором трех художественных книг, это принесло ему немного зара-

ботка и даже какую-то узнаваемость в литературных кругах. К тому же Сергей мог позволить себе праздные размышления, освоив профессию художника-миниатюриста: в то время как кисточка в его руках гладила крошечные фигурки, он мог часами думать о чем угодно.

Фигурки в его жизни появились совсем случайно. Сначала это было безобидным и разовым увлечением на один вечер. Жирно и не очень аккуратно он раскрасил купленного в ларьке на автобусной остановке рыцаря из белого металла. Мазнул белки на месте глаз, зубочисткой обозначил радужку. Тут же отданный сыну рыцарь потерялся среди других сыновних игрушек. Так случилось и со следующим, и с еще одним...

Это продолжалось около года. Ольховскому казалось, будто он заболел какой-то приятной болезнью, а потом случилось так, что он потерял работу. Издательство, где он работал верстальщиком, развалилось, причем сделало это внезапно, в одночасье. Никому и в голову не приходило готовить пути к отступлению. Получив расчет, Сергей решил взять паузу. Была зима, был не дописан роман, и деньги тоже были. С тех пор как Лена стала хорошо зарабатывать, денег в семье хватало. Семья даже приобрела подержанный «Форд-Фокус», но, повозившись с ним, Ольховский быстро разочаровался в автомобиле. Он почти не садился за руль, и основное бремя автомобилизма легло на Лену. Лена же и подкинула Сергею мысль о том, чтобы разместить в сети несколько

работ на продажу.

Сделав так, как посоветовала жена, Ольховский посмеивался. А тем же вечером ему позвонил человек: его интересовали фигурки. Человек оказался доморощенным коллекционером оловянных армий. Было ему лет под шестьдесят. Тогда еще Сергей понятия не имел, какие деньги могут выкидывать люди на любимое хобби. Коллекционер отсчитал Ольховскому требуемую сумму, обернул салфеткой каждого рыцаря, попросил коробку. Потом предложил сотрудничать. Была зима, и был не дописан роман...

Весной, посчитав прибыль, Ольховский понял, что ему не обязательно снова становиться верстальщиком. В новой работе преобладали плюсы: не надо было куда-то ехать, появляться к девяти... Не было даже формального начальника. Несколько клиентов стали Ольховскому приятелями, с некоторыми он даже выпивал... Сергей, сполоснув кисточку, отъехал от стола. Входная дверь заскрежетала ключами – с работы вернулась Лена. Она зашелестела пакетами в коридоре, приговаривая то и дело:

– Фрося... Здравствуй, здравствуй, моя хорошая... Фрося! Ну Фрося...

Ольховский молчал. Сперва – собака! Ее чувства от прихода Лены, конечно, ярче, чем его.

– Ольховский, ну блин... – это уже ему.

Если пояснить Лениным языком, то выглядеть будет примерно так: «Я пришла с пакетами, ты меня не встречаешь, а

собака когтями царапает мне ноги». Поэтому «ну блин».

Она знает, что Сергей все понял. В этом году их брак, как и Димка, отметил совершеннолетие.

– Иду. – Сергей встал из-за стола, сделал несколько шагов в коридор.

– На, я тебе рыбу купила.

Жена смотрела на него и морщилась. Под ногами вертелась кривоногая черная такса Фрося, изображая радость.

– Ты чего? – спросил Ольховский, принимая пакет.

– Да блин, натерла...

И он опять все понял. Вчера она купила новые туфли и сегодня этими туфлями натерла себе мозоль или несколько.

Лена села на табурет в коридоре, наклонилась к травмированной стопе, чем тут же воспользовалась собака. Встав на задние лапы и вытянув морду, лизнула хозяйку языком в самые губы.

– Тьфу... – вытерла губы Лена, смазывая помаду.

Собака забила гладким хвостом так, будто получила одобрение за поцелуй.

Лена прошлепала в комнату, на ходу снимая платье через голову. Глядя на нее, Ольховский вдруг подумал о том, что, оставаясь такой же плоской, как раньше, Лена раздается вширь. Задал себе вопрос: соблазнился бы он таким телом сейчас, если бы оно не принадлежало жене? Очевидного ответа не было. Было не стопроцентное «нет».

– Димасик сегодня девочку приведет, ты помнишь?

Лена бесстыдно стянула лифчик, продолжая глазами искать домашние брюки. Ольховский помнил то время, когда, снимая эту часть туалета, она прикрывала грудь локтями. Тогда это его раздражало. Теперь отношения вступили в дружную крайность...

Еще лет пять назад он не мог равнодушно наблюдать за тем, как она раздевается. Все равно шлепнул бы по попе или шутливо ущипнул коричневый сосок, но потом эта легкость, почти нежность их отношений стала куда-то исчезать, хотя внешне все оставалось по-прежнему. Разве что страсть случалась все реже и реже, даже при том, что их секс был относительно регулярным.

В какой-то момент у Ольховского наступило равнодушие к ее телу, и он был даже немного благодарен этому равнодушию: иногда на что-то надеяться гораздо хуже, чем просто махнуть рукой.

Замечательным было то, что Лену такое положение вещей даже не беспокоило. Его полунамеки были неправильно истолкованы – комплект нижнего белья, который Ольховский ей купил, она стала использовать по прямому назначению, продолжая ложиться в постель попеременно то в желтой пижаме, то в розовой...

– Ольховский, ты помнишь, что Димасик девочку приведет? Ты мне ответишь, а?

Предмет, вернее, предметы его раздумий, покачнувшись, скрылись под футболкой.

– А что ты хочешь услышать?

– Я хочу услышать, что тебе не все равно! – легко ответила Лена. На ее легкости вообще держался их брак – Лена не терпела долгие ссоры и быстро прощала обиды, поэтому обижать ее было скучно.

– Конечно не все равно! Я не хочу, чтобы он привел какую-нибудь толстую каракатицу.

– Я же тебе говорила, она хорошенькая! – Лена произнесла так, будто Сергей и вправду мог позабыть этот факт. А ведь нет! Тем более что приведи Димка каракатицу, Ольховский был бы разочарован.

Ему было не по себе оттого, что в его дом приходят чужие страсти, тем более страсти собственного сына. Он никому и никогда не признался бы в том, что просто завидовал Димке.

Страсти самого Ольховского с появлением денег переехали в публичный дом в двух кварталах отсюда. При всем многообразии чувств, которые он испытывал в связи с этим, по-настоящему тяготила его только необходимость лгать. Сначала он скрывался довольно тщательно: долго гулял после, выветривая посторонние запахи духов и сигаретного дыма. А потом Лена сама избавила его от вранья: она просто не слушала его объяснений и не интересовалась, где он был. Можно было, наверное, говорить как есть... Она бы только с рассеянным видом произнесла:

– Брось шмотки в стиралку...

Между Сергеем и Леной пролегли невидимые границы,

которые супруги, крадучись, нарушали раза три-четыре в месяц. После, ощущая боком тесно прижимающееся к нему тяжелое тепло, Ольховскому недолго казалось, что с платным сексом покончено. Следующий же вечер оканчивался желтой или розовой пижамой. Послеследующий тоже... Через неделю-другую он набирал заученный уже номер, наплевав на деньги и брезгливость, и излишне бодрым голосом спрашивал администратора: «Здравствуйте, а кто из девчонков свободен? Я буду через полчаса».

– Алле, Ольховский... Ты там умер, что ли? – Лена провела ладонью у него перед глазами, близко заглянула в лицо.

– Да, – автоматически ответил он, думая уже о Димке.

Сыну шел девятнадцатый год, и к этому времени отношения с ним дали закономерную трещину. Как известно, трещин в отношениях нет только у тех, у кого нет и отношений... Опять же, возрастное – успокаивала оптимистичная жена. Ольховский кивал, зная про себя и Димку что-то еще. В свое время как-то похоже были сломаны отношения между ним и его отцом... Отец умер раньше, чем появилась нужда в примирении.

– Как ее зовут? – спросил Ольховский. Узнав ее имя, он готов был нарисовать ее образ – так у него всегда. Ему не нравились Наташи и Веры. Нравились – Вики и Юли. Лена видела ее фотографии, ему же Димка не удосужился... Нет, постеснялся показать девушку.

– А-а, все же интересно? – возликовала жена. – Настя ее

зовут.

С Настей было сложнее. Настя могла быть как длинноногой оторвой с узким прищуром татарских глаз, так и толстой неумехой, что, конечно, вряд ли... Ольховскому хотелось, чтобы сын влюблялся в достойных девушек, и оторва смотрелась предпочтительней...

– Что, Ольховский, интересно, какие девочки сыну нравятся? – наседала Лена. Как и всегда, ей было важно, чтобы Сергей подтвердил ее правоту.

– Мне кажется, это его дело, – равнодушно ответил он. Эмоциональным в семье должен быть кто-то один: если оба супруга взрывоопасны, возможна детонация.

– Как же, его... – проворчала она. – Тебе все равно, что ли, какие у тебя будут внуки?

– При чем тут внуки? Первая любовь и внуки – ха! Огромное расстояние!

– Да не у всех же... – кричала она из кухни, гремя чайником.

Сергей пошел за ней.

– Себя вспомни... – Он любил этот аргумент. По признанию Лены, до него у Лены было пятеро мужчин. Наверное, это не так много, с каждым из них у нее были свои резоны... Но, в общем, Лена познавала жизнь достаточно активно, не думая ни о каких внуках для своей матери.

– Да, мы те еще были... – Лена любила обобщать. Он только улыбнулся. Потому что никаким «тем еще» не был.

Лена стояла у окна с бутербродом в руке, смотрела во двор и размышляла:

– Я боюсь. Ну, не боюсь, но побаиваюсь... Вдруг она хамка?

– Как хамка? – удивлялся он. – Ты же говорила, что хорошенькая?

– Ну уж хорошенькая не может быть хамкой, по-твоему?

– По-моему, нет, – миролюбиво ответил Ольховский. – Зачем хорошенькой быть еще и хамкой?

– А-а... – махнула Лена на него рукой, как бы обвиняя в инфантильности. Насыпала в чашку растворимого кофе. Залила кипятком.

А потом раздался телефонный звонок.

– Димасик! – бросилась тигрицей к своему телефону Лена. Взяла трубку, зачем-то повернулась к мужу спиной и прикрыла рот ладонью.

Ольховский снова усмехнулся. Внимательно помолчав, выслушивая гул на том конце, Лена замешкалась:

– Как-то я не была готова, Димитрий!

Трубка погудела еще, помолчав, продолжила, и Ольховский узнал по интонации знакомое сыновнее «ну мам».

– Ну Ди-има... – растягивала Лена в ответ. – Ну хорошо... Только чтобы она домой позвонила. При мне! – Она многозначительно обернулась к Ольховскому, сделав страшные глаза.

Он догадался. Димка сделал стратегически правильный

ход: сначала подготовил мать к встрече с девушкой, а потом позвонил и сообщил, что девушка останется ночевать.

– Дождались? – веселился он, когда жена закончила разговор.

– Он сказал, что она останется... – задумчиво проговорила Лена, садясь на стул.

– А чего ты хотела? Все нормально!

– Ну как-то быстро...

– Где же быстро? Они уже месяца два встречаются.

– С начала марта... – эхом отозвалась жена.

– А уже конец мая! Что же тут удивительного?

– То есть ты не против? – наконец заговорила она человеческим голосом и глотнула из чашки.

– Нет. Как я могу быть против? Даже если и буду, то что?

– Да, – наконец согласилась она. – Надо вымыть туалет... – Перед приходом гостей Лена всегда моет туалет, даже если занималась этим накануне.

– Интересное умозаключение!

– И надо хоть купить чего-то к чаю... – продолжала она.

– К какому чаю? Они придут не за этим.

– Какой ты...

– Объективный.

Пока Лена, надев резиновые перчатки, драила туалет, он стоял в коридоре и размышлял:

– Все-таки хорошо, что у нас сын!

– Почему так? – доносилось до него.

– Потому что одно дело, когда сын водит вкусно пахнущих девочек, и совсем другое, когда дочь...

– Что – дочь? Я не поняла...

– Дочь водит парней с запахами несвежих носков и юношеского пота... С грязными волосами и побулькиванием незрелого тестостерона в крови.

– Ничего себе у тебя фантазия!

– Ну! – рассмеялся он.

– Это чего же ты таких страшных парней нафантазировал? – Лена даже подняла голову от туалетного пола. – Ты же вроде и волосы мыл...

– Да не очень-то! Ты просто не замечала.

– Может быть, – неожиданно согласилась она. – Но, вообще, у нас как-то не принято было домой парней таскать...

Ольховский вспомнил, как впервые попал к Лене домой. Вернее, вспомнил по ощущениям и никак не мог воссоздать в памяти подробности. Помнил раскрытые окна и много света. Полузасохшие растения в глиняных горшках. Тесноту в длинном коридоре и чай из чашки с отбитой ручкой. Ее квартира, наверное, была последним помещением из тех, где им случалось уединиться. Со стороны они вели себя целомудренно, но кто бы знал, что целомудренность эта была жутко неудобной. Он помнил, как для любви приходилось использовать последние этажи и черные лестницы.

Цветы жизни уже переступали порог, а Ольховский все тянул выходить из комнаты. Ему казалось, что, если он вы-

скочит слишком рано, это может выглядеть невежливым любопытством. Теперь получалось почти наоборот – так, будто ему вообще наплевать.

– Проходи, – басил Димка, обращаясь к Насте. Настя не отвечала, сохраняя интригу.

– Мама, дай нам табуретку, – распоряжался сын. Ольховский, обнаружив в себе позабытое волнение, поднялся из кресла, вместо «табуретку» на полмига услышав «таблетку»...

– Да вот сюда поставь... Садись! – это опять Насте.

Ольховский просунул голову в коридор. Даже сейчас это выглядело любопытством и ничем больше.

– Привет, папа... Настя, это мой папа. Папа, это Настя.

Ольховский как-то так себе все и представлял. Знакомство с девушкой сына. Настя повернула к Ольховскому лицо и тихо и четко ответила:

– Здравствуйте.

– Здравствуй, Настя, – ответил Ольховский, падая.

По крайней мере, так ему показалось. Земля ушла из-под ног, но вернулась так быстро, что он не успел даже покачнуться. Ощущение страха осталось. Он уже забыл, когда женщина производила на него такое впечатление.

– Настя, вот тапки! – суежилась Лена, подсовывая девочке гостевые шлепанцы.

Настя переобулась, и от ее босых стоп на полу коридора остались два влажных, исчезающих на глазах следа.

Сергей неумно потоптался на месте, но продолжал стоять.

Он бы огорчился, если бы Дима привел неопрятную толстуху. Сокрушался бы, если бы избранница была безвкусно одета. Но такого он предположить не мог. Дима привел совершенство, и это оказалось большее всего.

Ольховский даже не очень ее рассмотрел – он ее понял. Наследственность проявила себя неожиданно: сыну нравились те же женщины, что когда-то нравились и отцу...

Сын вел себя достойно. Взял, так сказать, ситуацию в мужские руки. Намеренно не таясь, достал из рюкзака бутылку вина. Подтолкнул Настю к своей комнате и закрыл дверь перед носом у любопытной Лены.

– Ого? – посмотрела она на Ольховского с надеждой на то, что он разделит ее удивление.

– А как ты хотела?

– Могли бы и без вина...

И он опять был вынужден напомнить ей, чем занимались они в этом возрасте. Тогда еще, правда, по отдельности.

Несколько лет назад Ольховский написал рассказ. Даже не рассказ – разминку. Все то лето он относился к литературе только как читатель. Рассказ-разминка назывался «Осень, которой не было». Рассказ о том, что, минуя какой-то возрастной рубеж, мужчина уже не замечает, как год сменяется годом, лето – осенью, и сама осень уже не так прекрасна, как когда-то... В целом – тоска и рефлексия, если бы не од-

но «но». Это правда! Банальная правда не становится менее правдивой от своей банальности. В рассказе герой мечтал о девочке-тайке или же таитянке – неважно. Девочка могла быть откуда угодно... Главное, чтобы она была молода и полна своих девичьих тайн, которыми могла бы поделиться. Тайкой же Сергей хотел видеть ее потому, что представлял, как они с девочкой будут раскладывать на песке найденные ею цветные камни, выброшенные прибоем.

Описывая все это, он проникся к девочке чувством. То время, которое он просидел за своим письменным столом, сочиняя тайку, Ольховский проводил далеко от дома, на том несуществующем пляже. Возвращаться ему не хотелось. Теперь же сын привел домой ту, которая по всем внешним данным подходила на роль тайки. У нее вполне могли быть свои девичьи тайны. Ольховский не завидовал сыну – это было бы слишком. Ему было даже приятно, что у сына есть вкус и мужество иметь рядом с собой красавицу. Он не завидовал. Ему немножко жаль себя: сорок лет – это совсем не возраст... Он бы мог предложить этой Насте много чего, все что угодно, кроме молодости, хотя и отсутствие молодости не означает непременно приход старости. Есть зрелость, в конце концов... В том-то и дело, что зрелости у Ольховского нет! Есть все что угодно, кроме зрелости. Та же рефлексия, например. Зрелость – время, когда свои проблемы становятся выше проблем мироздания, считал он. Его, увы, еще волнует мироздание.

Через минуту Димка появился снова:

– Пап, дай мне штопор!

– Дима, дай мне штопор, – передразнил его Сергей. Сын понял абсурдность просьбы и удалился на кухню.

К сожалению, он даже не спросит, понравилась ли отцу девушка, которую он привел ночевать. Ольховский бы по-дружески показал Димке большой палец. Но нет – скорее всего, Димка будет потом шушукаться с матерью, взяв с нее слово «ни за что не говорить отцу». Лена, естественно, слова не сдержит, но Димка не узнает об этом. В передаче информации случился сбой – Ольховскому хотелось бы напрямую.

– Может, вам сосисок сварить? – беспомощно спрашивает Лена.

– Не надо! – грубовато отрезает сын, так, будто сосиски унижают его мужское достоинство.

В его комнату хлопает дверь.

– Ну и как тебе? – Лена спросила шепотом, многозначительно кивнув головой в сторону детской комнаты.

– Вполне, – обронил Ольховский.

– Ольховский, ну почему ты молчишь?

– Я же сказал – вполне!

– И всё? Правда ведь хорошенькая?

– Да чего уж там, просто красавица. Я завидую!

– Дурак, – как на неудачную шутку огрызнулась Лена, хотя Ольховский и сказал чистую правду.

– Димусик с ней такой взрослый, да? – Жена хотела живых

обсуждений и не знала, с чего начать.

– Он будет еще взрослей, если ты перестанешь называть его Димусиком.

– Он мой сын! Слушай, Ольховский... – Она вздохнула и замолчала.

– Ну? – подбодрил он Лену.

– Ну, слушай, – начала Лена вкрадчиво. – Как ты думаешь, у них уже было?

Она склонила голову и по-птичьи, внимательно посмотрела на мужа.

– Лена... – Ольховский засмеялся и задумался. Ему и в голову бы не пришло, что этот разговор может быть ему неприятен.

– Я не знаю, – честно ответил он. Одна за одной в мозгу генерировались какие-то жуткие параллели. Он всегда любил своих друзей, но тяжело переживал, если их жены были привлекательными: тогда гнусную работу начинала фантазия. Ничего поделатъ с ней Ольховский не мог. Вот и сейчас с ним происходило что-то подобное, то, о чем он не мог поведать даже Лене.

Она, в свою очередь, тоже молчала, хотя лицо ее выражало напряженную работу мыслей.

– Лена, ну какая разница?

– Разница? Да я думаю, как ему лишний раз напомнить... – Она даже не знала, как произнести очевидные вещи применительно к Димке.

– О чем напомнить?

– О презервативах, – выпалила она и как будто покраснела.

– Я как-то не думал... – Будь у него в семье другие порядки, он в шутильной, осторожной форме намекнул бы сыну на эту важную мелочь, пусть даже для очистки совести. Но секс в семье – не предмет разговора. Предмет молчания! И как-то получилось, что Ольховский все это упустил.

– Конечно, чего тебе думать? – вспылила Лена. – Ты не думаешь, потому что это не твое дело, а он не думает, потому что вообще об этом не думает.

– Может, он думает?

– А ты? Ты?

Разговор зашел в тупик. В таких тупиках ловчее разворачивалась Лена, и Сергею достаточно было просто подождать.

– А у тебя есть? – осторожно начала она.

– Откуда? – Ольховский даже развел руками. Сам по себе вопрос был очень странным: как будто Лена может быть не в курсе таких обстоятельств. Они много лет не пользовались этими вещами.

– Может, тебе сходить?

– С ума сошла?

– А чего такого? – смутилась она своему предложению.

– Да ничего... Как я потом их ему отдам? Дима, я сбегал для вас в аптеку?

– Так и отдашь.

– Раньше надо было.

Он понимал, что виноват. Так или иначе, но это было его дело, с которым справиться он не смог, условности оказались сильнее. Можно было рассчитывать теперь только на сыновнее благоразумие.

– Лена, это его, а не наша забота. Мы же не будем их вечно подстраховывать? А потом, прости, но вспомни себя...

Вспоминать себя она любит не всегда. Постыжение половой культуры у Лены вызывает противоречивые воспоминания. Результатом халатного отношения к ней, к культуре, стал сделанный от одноклассника аборт, который очень дисциплинировал ее в дальнейшем. Хотя ведь и Димка у них не был таким уж запланированным ребенком – сперва Лена хотела доучиться.

– Я вспоминаю, Ольховский! Вспоминаю! И поэтому не хочу, чтобы у нее было так же, как у меня! – В гневе Лена становится очаровательна, но иногда даже очаровательное женское упрямство невыносимо.

– Всё, проехали, – грубовато оборвал ее Ольховский, и в тот же момент из-за двери снова появился Димка.

– Мам, дай нам нож... Яблоки нарезать...

И тут Ольховский не выдержал:

– Дима! Что за дела – «мам, дай нож, пап, дай штопор!» А свои руки на что?

Когда-то они с сыном были очень дружны. Сергей и по сей день считал то время лучшим во всей взрослой жизни. Вре-

мя, когда сын копировал его и никогда не отказывал в помощи, пусть и помощь его была пока слабосильна и неполноценна. А потом, лет с двенадцати, стали происходить непонятные Ольховскому вещи. Он вдруг стал повышать на сына голос, даже невзирая на то, что после ему всегда было жаль Димку. И тот стал таить на отца обиды. Вернее, не совсем так... Он стал избегать конфликтных ситуаций. По-детски наивно не доверял Ольховскому секретов, не делился тайнами... Ольховский дошел до того, что начал ревновать его к Лене и еще больше раздражаться.

На антресоль отправились настольный хоккей, который много лет был почти что ритуалом, и гитара, которой Ольховский обучил Димку за несколько месяцев. И того и другого было по-особому жаль, наверное, хоккей все-таки сильнее. И Сергей уже не ругался, а молчал, понимая, что руганью вернуть интерес ребенка невозможно.

Когда Димке исполнилось четырнадцать, Сергей махнул рукой. Если раньше все тяготы воспитания списывались на взросление, то теперь – и вовсе на переходный возраст. Ольховскому казалось, что кроме компьютерных игр сын изредка интересуется только наличием еды в холодильнике.

Лена с ее легким характером не считала нужным тревожиться. Говорила она так:

– Ольховский, не трогай нашего сына. Он умница!

Судя по оценкам, Димка вообще был круглым умницей. И после школы как-то ожидаемо для всех поступил в политех.

Компьютерные персонажи уступили место волейболу и даже девочкам – всё вроде бы встало на свои места... Всё, кроме их с отцом отношений.

– Дима, помой за собой посуду, – просил Ольховский, пока сын, полуодетый, дожевывал холодную котлету.

– Мне некогда! – отмахивался тот, просовывая руку в рукав куртки.

– Две минуты ничего не решат, – пытался возражать Ольховский. Готов был даже приводить аргументы. В это время сын скрывался за дверью. Вечером того же дня он, съевшись, давал Сергею невнятные объяснения своего поведения, вынуждая того срываться на крик. Настигало ощущение, что Ольховский кричал в пустоту, и от этого кричать хотелось громче. Пустота же при этом еще больше съеживалась и замолкала.

Ольховскому даже сейчас хотелось напихать сыну за то, что тот не представил его по имени-отчеству.

Тем временем Лена с озабоченным видом ходила туда и сюда возле прикрытой двери и втягивала ухом наполненный приглушенными словами воздух.

– Лена! – позвал он ее. Она обернулась из коридора.

– Включи телевизор, что ли...

Это ход повышенной хитрости: звуки телепередачи помещают подслушиванию, но увлеченная Лена могла его и не понять. Все ее внимание сосредоточено на том, что происходит за дверью.

– Лен! – позвал он ее еще раз.

– Ну чего? – подошла она к нему, говоря почему-то шепотом. Она не видит ничего зазорного в шпионаже, и Ольховский, убедившись, что Лена смотрит прямо на него, продемонстрировал ей кулак.

– Интересно же! – принялась оправдываться она шепотом.

– Не шипи, так еще хуже...

Ольховский нажал кнопку пульта и, не глядя на экран, принялся листать каналы. Ближайшие полчаса они смотрели бессмыслицу, стараясь не думать о том, что происходит в комнате.

– Пусть она хоть маме позвонит... – вспомнила вдруг Лена.

– Да, вот это не лишнее... Дима!

* * *

Весь вечер телевизор работал громче обычного. Ольховский напрягся, когда из комнаты Димки явно потянуло табаком.

– Это Настя покуривает в окошко, – успокоила его Лена, добившись противоположного эффекта: до сих пор для Ольховского сигарета у девочки была так же привлекательна, как яркий макияж или горькие духи в чрезмерном количестве.

Пора было спать. Да и из всех выходов это был самый наилучший. Впервые Ольховский пожалел, что у них в комна-

те никогда не было двери, им вполне хватало одной – Димкиной. С появлением Насти звуки квартиры могут угрожать покою.

Умывшаяся Лена заняла свое место в постели. Теперь ее черед искать телевизионным пультом сказку на ночь. Ольховский долго водил зубной щеткой во рту, плевался пастой, приготавлился ко сну слишком громко, чтобы не столкнуться с Настей в коридоре. Закончив туалет, обреченно прошел в комнату. Повесил на стул футболку и домашние брюки, лег, отогнув краешек одеяла. Ненужным воспоминанием проскользнуло то, как раньше он обнаруживал жену под одеялом голой. Те времена теперь только дразнились – нынче нагрянуло время пижам, желтой и розовой. Новая женщина... нет, женщина в доме обострила ситуацию. Ему казалось, что он даже слышит Настин запах, хотя очевидно, что этот запах живет лишь в его голове...

Телевизор показывал глупости. Лена по второму разу гоняла каналы один за другим. Потом, протянув Сергею пульт, зевнула. Поворачиваясь спиной, прошептала:

– Ольховский, я спать, – оставляя его наедине со страданиями.

Он мог бы ее попросить, она бы не отказала, но ему не хочется превращать свое тайное желание в вульгарный акт. К тому же объект желания совсем не Лена и здесь не место сублимации. Вообще, то, что происходило в голове и душе Ольховского сейчас, чудовищно настолько, что об этом не

стоило рассказывать даже близкому другу.

Лет пятнадцать назад Ольховский с приятелями ездил на несколько дней в Хибины. Один из горнолыжных склонов, рядом с которым они жили, назывался Айкуайвенчорр. Вольный перевод с саамского – «спящая красавица». В силу эте горы легко угадывалась лежащая на боку женщина. Ле-на сейчас лежит ровно в том же положении, что и та гора. Только плавный подъем от талии к бедру у горы волнительнее, чем у Лены. Это и есть привычка: со временем все спящие красавицы превращаются просто в спящих. У природы вообще жестокие законы.

Ольховский погасил телевизор и невольно прислушался. Он отчетливо помнил все звуки неопытной первой любви и мог воспроизвести каждый из них у себя в мозгу. Позвякивание пряжки ремня. Звук разъезжающейся молнии на джинсах. Теперь молния на ее брюках – она короче и туже. И тише... Теперь слова – у каждого свои.

Нет, ничего не слышно. Может, уснули?

Ольховский поправил подушку и лег поудобнее. Когда он уже смирился со сном, тишина медленно и тяжело завораччалась и он понял, что все звуки, случавшиеся ранее, ему чудились. Доносившийся из комнаты фон был внятным, близким и недвусмысленным. Невозможным...

Два тяжелых для такой тишины тела шумно возились в постели. Может быть, они и пытались не шуметь, но возможно ли не шуметь, когда тебе восемнадцать?

У Ольховского вспотели ладони. Быть свидетелем происходящего ему не хотелось, но и накрывать голову подушкой казалось глупостью. Третьего же было не... И тут он нащупал третье.

Извращением это могло показаться в том случае, если бы кто-нибудь об этом узнал. Ему же сейчас это было необходимо! Он-то знал, что никакое он не чудовище, просто ему еще не так много лет и у него чересчур буйная фантазия.

В соседней комнате ритмично закрипел матрас. Молодые животные нашли друг друга.

Ольховский коротко представил серию беспроясненных для него сюжетов, пытаясь отвлечься от конкретной девушки за дверь. В последний момент благоразумно отказался от того, чтобы прикосновениями разбудить жену. Расслабился, испачкав живот и одеяло, чувствуя облегчение и унижение одновременно.

Зато больше его ничего не волновало. Он сделался пуст, равнодушен и мудр. Неслучайно по-настоящему мудры только те, кого уже оставили страсти.

Вытерев живот краем простыни, он лежал, удовлетворенный тем, что не посвятил в свою тайну Лену. Если бы она вдруг открыла глаза и подыграла, он бы увлек ее с собой и... изменил бы ей с ней самой, используя жену только как резиновую куклу и зная о том, как безвкусно бы все закончилось.

Он сделался пуст и равнодушен, не было даже отвращения. Для отвращения не было причины. Делать здесь докто-

ру Фрейду было абсолютно нечего.

Во сне Лена причмокнула губами, повернулась к Сергею лицом.

Сколько всего тайного, сложного и постыдного вмещает обычный, стандартный союз двух людей. С возрастом Ольховский уже не думал, плохо это или хорошо. Иногда сложнее принять и смириться, чем продолжать бессмысленно разбивать себе морду об очередную мораль.

Молодые животные за стенкой тоже притихли. Им хорошо. Хорошо – и слава богу. По-настоящему мудры те, кого уже оставили страсти.

Чувствуя приходящий сон, Ольховский еще не закрывал глаза. В окне ему было видно небо – начинались белые ночи. Он с грустью подумал о том, как хорошо было бы иметь кого-нибудь рядом. Жена – это уже не рядом, это уже почти что он сам. Это слишком близко. Общее у них все – сын, жилье, несчастья и плохая погода. Деньги и фамилия. А также постель, болячки и невымытая посуда.

Когда пришел полусон, подсовывавший ломаные, неясные сюжеты, он снова услышал движения в соседней комнате. Что там делали дети? Обнимались? Совокуплялись снова? Неважно. Все равно.

Утром он встретился с ней в коридоре, когда жена и сын еще спали. Звук открывающейся двери Димкиной комнаты застиг его тогда, когда он в одних трусах подходил к уборной.

Заспанная, Настя спешила по тем же, что и он, делам, почти что с закрытыми глазами. Они столкнулись лицом к лицу.

– Ой! – сказала Настя и довольно бесстрашно засмеялась. Балахоном, натянутая в районе груди, на ней болталась сыновняя серая футболка со слонем и надписью «Таиланд». Светлые легкие волосы были растрепаны. Ольховский уже забыл, когда он чувствовал себя так неловко, и оттого, не найдя верных слов, грубовато бросил, указывая пальцем на дверь туалета:

– Тоже сюда?

– Разумеется... – Она ничуть не была смущена. Все происходящее казалось ей забавным.

Ольховский вздохнул, ища применения рукам, погладил торс:

– Иди... – и вернулся в комнату.

Он отчего-то опять лег под одеяло и пытался не слышать доносящегося до него журчания. Потом, когда Настя уже освободила туалет, сколько можно долго он не вставал, надеясь на то, что запах чужой женщины выветрится из уборной, и зная, что так скоро этого не случится...

Наконец поднялся, зашлепал по полу. Закрыв за собой задвижку, понял, что был прав. Что у них там внутри, у таких девчонок? Феромоны?

В очередной раз бубнить себе о прошедшей молодости нет ни сил, ни смыслов. Длинноногая, в Димкиной футбол-

ке, она нереальна в их квартире, как красивая тропическая рыба, попавшая в аквариум с буроватыми карасиками, рыба, широко открывающая рот и медленно шевелящая пестрыми жабрами.

Он снова лег. Белая ночь созрела в желтое утро. Если прислушаться, то можно услышать, как за домом недовольно гремит по рельсам разбуженный трамвай. Уже давно, может быть, последние лет пять, если он застает такой утренний трамвай, Ольховскому кажется, что его спасение как раз в этом трамвае. Если это ему казалось до Насти, то сейчас он просто уверен в этом.

Ольховский закрыл глаза – мерное трамвайное покачивание становится все ощутимее. Завтра он встанет рано-рано и пойдет к первому трамваю. Завтра... Завтра...

* * *

– Дима, это точно? – Ольховский проснулся оттого, что Лена повысила голос. Ему было не видно, но он вполне мог догадаться, что жена переговаривалась с Димкой через дверь.

Тот ей что-то отвечал.

– Точно ко второй?

– Да, мам... – различил Ольховский недовольный басок.

– Лен, – позвал он ее.

– Он говорит, что ему ко второй паре... – сокрушалась

жена, заглянув в комнату.

– Сегодня же суббота, – отреагировал Ольховский, – значит, точно ко второй...

– Это почему же? – заинтересованно ведется она.

– Потому что, – аргументировал он с таким видом, что Лена только закатила глаза. – Я бы на его месте вообще сказал бы тебе, что сегодня выходной.

Ольховский говорит без улыбки – субботнее утро напрягло его еще пару часов назад. Для верности добавляет сурово: – Оставь их в покое.

Чтобы дети успели ко второй паре, им нужно побыстрее перейти к любви. Без этой стадии оторвать их друг от друга будет довольно хлопотно, и поэтому Ольховский, вопреки Лениным протестам, завел музыку, чтобы им там было комфортнее.

Жена протестующе округлила глаза, а Ольховский добавил звука.

– Оставь их... – повторил он, и Лена, кажется, поняла, в чем дело.

Следующие полчаса прошли под блюзы Дженис Джоплин, а потом появился Димка. Ольховский сидел на кухне, отхлебывая кофе из кружки. Отец и сын обменялись твердыми, как бильярдные шары, взглядами. Встретившись, взгляды равнодушно раскатились...

– Привет, пап...

Почему-то Ольховский не смог заставить себя ни заговор-

щицки усмехнуться, ни просто улыбнуться сыну. Ответил бескровным «привет» и, глядя в сторону, снова глотнул из кружки.

Наклонившись, сын потрепал собаку, потом направился в ванную. Долго фыркал там и яростно чистил зубы так, что было слышно на кухне. Потом пробасил:

– Мам, дай полотенце, а?

– Висит же... – отмахнулась Лена, не отрываясь от плиты.

– Насте... – неловко пояснил Димка. – Можно ей в душ?

Ей можно и в душу...

– Ну конечно.

Она – фантастическая. Сладко измятая сыном и сном, одетая наспех, проскользнула в ванную комнату так, что Ольховский чуть не закрипел зубами. Кожа цвета фламинго, тело в ритме фламенко... Третьей рифмой на язык просился «маренго», но Сергей не нашел ей места...

Потом за стеной яростно шумел душ, впиваясь сотней иголочек в... Когда Ольховский думал о том, что там происходит, он старался не думать вообще... Димка пару раз прошел мимо него к кофеварке и обратно, и Ольховский уловил запах и ее, Настиного, тела, смешанный с запахом Димки. У нее отличные, кстати, духи. У Лены тоже ничего, но она пользуется ими постоянно, и он привык.

Ольховский понимал, что нервничает здесь только он один, и от этого все же было немного спокойнее. Сын пока сыт ее телом, для Лены же она ребенок, и точка. И для Оль-

ховского, по мнению Лены, она тоже ребенок.

Душ замолк. Душ красноречиво замолк – так он замолкал в молодости, когда все еще было в новинку. Сейчас выйдет Она, обернутая полотенцем. Или, если Она понаглее, вообще без ничего. Это не фантазия. Это отчаяние – к сорока годам эти штучки оказались изъяты из его жизни.

Появилась одетая Настя, расправляя волосы. Глядя на ее блузку, Ольховский удивился, как ей неожиданно идет розовое.

А потом, когда пирамида бутербродов и чашки были утащены Димкой в их логово, Сергей, почти не владея собой и замирая внутри от доступного только ему секрета, ушел в ванную комнату и долго вдыхал мокрый запах ее полотенца. И думал о первом трамвае, в который он сядет завтра утром...

Они исчезли так, что Ольховский даже не вышел их проводить. Только громко и внятно крикнул:

– До свидания, Настя...

Ему было интересно, рассказала ли она Димке об их утренней встрече. Хотя скорее всего не придала этому никакого значения: Ольховский для нее просто папа ее парня. Папа ее парня – звучит смешно...

– Хорошенькая, – выдохнула Лена, когда за ними закрылась дверь. – Ты мог бы быть все же поприветливее, а?

Ольховский поднял на нее глаза. Иногда ему казалось, что за двадцать лет она совсем не изменилась. В домашних

штанах и футболке она выглядела уютно, так что Ольховскому захотелось уютной и домашней близости с ней, но за двадцать лет их отношения окостенели настолько, что само предложение этого показалось бы Лене дикостью или неумным капризом. Все равно бы ничего не вышло.

– В следующий раз – обязательно, – неприязненно ответил он.

* * *

Ольховский дал себе слово не работать по выходным, так как погоня за деньгами могла быть бесконечной. Заказов всегда случалось больше, чем это было необходимо. В любую из суббот можно было от скуки заработать себе несколько тысяч. День же при этом куда-то пропадал, и удовольствия от заработанного не было – времени было жалче. Беспокоил еще очередной, движущийся медленно роман. Это занятие в расписании Ольховского стояло отдельно. Каждое утро буднего дня у него начиналось с нескольких страниц. Рефлекс выработался довольно устойчивым, но теперь за свои труды все больше хотелось не только известности, которой всегда мало, но и... денег. И финансовый аспект уже напрягал. В сорок, казалось Ольховскому, имя должно работать на него. Он на имя вроде бы уже поработал. Предыдущие книжки принесли ему если не известность, то узнаваемость.

Вечером у Лены должна была состояться какая-то встре-

ча, не то с одноклассниками, не то с одnogруппниками – он всегда их путал, хотя такие встречи и происходили ежегодно. Каждый год Лена долго наряжается, сетуя на то, что они с Ольховским не ходят никуда вместе, вызывает такси и, подхватив сумочку, исчезает за дверью. Лена едет к Любе. Та живет за городом, где-то под Петергофом. Люба владеет особняком. Там они все и встречаются – одноклассники или одnogруппники. Ольховскому нравилось то, что спать он ложится в одиночестве, и то, что утром Лена приезжает в такси прокуренная и немного пьяненькая. Такой она бывает только раз в году. Если бы это было чаще, возможно, между ними что-то изменилось бы в лучшую сторону. Сергей не раз размышлял о том, как было бы, если бы Лена разок-другой изменила ему с одним из одnogруппников или одноклассников. Скорее всего, это добавило бы чуть-чуть перчинки в их выдохшиеся отношения. К сожалению, Лена – верная жена. Думая о ее измене, Ольховский иногда содрогался от формулировки и никому не рассказывал об этих своих фантазиях. Ему даже скучно было ее подозревать: еще одно хорошее Ленино качество – простодушие. Изменив, она, скорее всего, первая прибежала бы к Ольховскому жаловаться на себя, дуру.

– Ты думаешь, после пар они опять придут? – вдруг спросил он пытящую утюгом Лену.

– Ну потерпи, а? – Лена поставила утюг на попу, просительно посмотрела на мужа, сдувая со лба темную челку.

– Я просто спрашиваю... – ответил он, зная, что слова его безнравственно сухи. Он даже не знал, хочет ли он видеть Настю второй раз за день или это для него – мука.

– Да вижу я, как ты спрашиваешь... – Лена опустила глаза. – Они же все равно дверь закроют...

Такую Лену он мучить не может...

– Ладно, – ответил он легко, – разберемся...

Помимо того, что Ольховский устал от жены и не прочь подложить Лену под другого, он, Ольховский, еще и жалеет ее...

– Разберетесь? – ожила Лена и снова весело зашипела утюгом. – Я им все приготавливаю...

– Презервативы? – скупой пошутил Ольховский.

– Тьфу на тебя... Еду. Хотя о презервативах надо с ним поговорить.

– Ты опять? – вскипел он. – Сами разберутся.

– Хотелось бы...

Снова поставив утюг, она легко сорвала платье с гладильной доски и поколыхала им в воздухе:

– Никуда мы с тобой, Сережа, не ходим. Сейчас ты увидишь, какая я могу быть красивая!

Лена уехала в шестом часу, детей еще не было. После занятий они собрались гулять – к счастью, это развлечение компьютер у них отобрать не смог.

Проводив жену, Ольховский расслабленно упал в кресло.

Сейчас грядущая Настя не казалась ему таким уж кошмаром. Плюсы начинались с того, что никто и ни в чем его не мог уличить. И задать вопрос, в ответ на который Сергею пришлось бы врать. Можно, наконец, выпить кофе в тишине – тоже роскошь. При этом чем-то мучительным тяготилась голова, придавая усталости...

Хотя теперь он точно хотел, чтобы Настя не приходила. Он готов провести весь вечер в этом кресле, размышляя над Настей, но он никак не хотел ее видеть. Приятной розовой фантазии было вполне достаточно, больше – не надо. Не надо!

К нему на руки, коротконогая и оттого неловкая, попросилась собака. Он приподнял ее за грудь, опустил к себе на колени. Фрося подвернула передние лапы и легла, устраиваясь поудобнее. Картина была закончена – больше никто не нужен.

* * *

Они все же пришли. И они смеялись...

– Пап, это мы, – радостно сообщил сын, от которого тянуло восторгом и алкоголем.

– А это мы... – равнодушно сообщил Ольховский, потом добавил: – Здравствуй, Настя.

Из комнаты Настя была ему не видна.

– Здравствуйте, – четко и приветливо ответила она, как

дрессированная секретарша или стюардесса.

Ольховский закрыл глаза. Надо было спокойно выдохнуть и никуда не торопиться. Детский алкоголь сделался последним аргументом. В юности с него начиналось все – хорошее и плохое, а хорошего в юности, как известно, всегда гораздо больше плохого. Да и плохое-то выглядит буднично и беспродно. Даже гибель знакомого паренька, по пьяни прыгнувшего в смерть с моста Александра Невского, забылась так же, как все остальное плохое забывается в девятнадцать, когда все еще почти бессмертны. Алкоголь, вне зависимости от пола, лишал девственности. Давал неожиданный отпор сильным. Придавал и без того опьяненной молодостью жизни легкий оттенок избранности и безумства. До какого-то времени алкоголь был лишь поводом...

Алкоголь сделался последним аргументом. Ольховский понимал, как им хорошо и беззаботно сейчас. Он осторожно поставил собаку на пол, поднялся из плюшевых объятий кресла. В проеме двери он увидел Настю – в той же розовой блузке и в узкой юбке выше колена. Она, стоя у зеркала, поправляла волосы. Заколку держала во рту. Ольховский прошел мимо нее на кухню, притом оба они через отражение попытались улыбнуться друг другу. Из кухни позвал сына.

– Дмитрий, – начал он. «Дмитрий» случался все реже, потому что был шутивно-дурашливым.

– Дмитрий, – повторил Ольховский. – Я не буду вам мешать и болтаться у вас под ногами, так что располагайтесь:

приду поздно.

– Ладно... – сурово отблагодарил сын.

– Это все? – У Ольховского поднялось настроение.

– Спасибо... Нью, достань то, что мы купили, из рюкзака...

«Нью» – надо же! «Нью»! Коротко, изящно... Пожалуй, даже эротично. Молодец. «Нью» только укрепило Ольховского в мысли о том, что ему здесь не место.

Дождавшись, пока дети скроются (между прочим, «Нью», кажется, достала из рюкзака бутылку), Ольховский сменил футболку, натянул свободные брюки... Напоследок открыл дверцу шкафа на кухне, где время от времени заводилась его бутылка, и глотнул прямо из горлышка...

Настя разворошила внутри что-то яркое, как будто бы цветные стеклышки высыпались из сломанной детской трубки с названием «калейдоскоп» и стали красивее оттого, что больше не бренчат в легком тубусе для индивидуального подсматривания. Ольховский слишком хорошо знал, что это ненадолго. На несколько часов... На полдня. Потом он даже перестанет верить в то, что это происходило, что на полдня или несколько часов он сделался подтянутым и помолодевшим, что у него изменилась осанка. Вот так женщины и делают мужчин лучше. А вот жены почему-то уже нет...

Выбор был сделан. Все мысли Ольховского уже скользили по наклонной, как весенний снег, подтаявший и неспособный удержаться на влажном скате крыши. Он часто замечал за собой это качество: уже зная, как с ним все произойдет, он

еще не до конца в это верил. Корил себя мыслью о том, что лучше было бы купить себе, например, новые кроссовки...

Надо бы позвонить, узнать, кто из девчонок свободен, но еще слишком рано – если он вернется через полтора-два часа, дети будут разочарованы в его великодушии. Только вот с каждым часом возрастает риск вообще не попасть туда, куда он задумал, – суббота же... Выпившие мужчины хотят женщин... Хотя почти лето, а летними субботами с женщинами довольно успешно конкурируют шашлыки на берегах ближайших водоемов.

Ольховский спустился вниз, ощущая всей кожей солнечный вечер, обошел свой дом. С фасадной его стороны располагалось маленькое кафе, где всегда можно пропустить сто грамм и встретить знакомых. Для многих из них обитатели кафе были почти семьей: встречались здесь каждый вечер, вместе справляли дни рождения и нетвердо знали имена друг друга. Однажды, зайдя в кафе, Ольховский попал даже на поминки.

В кафе было прохладно и пусто. За стойкой бара читала потрепанную книжку, положив ногу на ногу, буфетчица Света. Она всегда читает книгу, когда посетителей нет, и книги ее выглядят одинаково: одного, «покетбучного» формата, разница только в картинке. В углу же, цепко высматривающий знакомых, расположился Аркадий. Он огромен и бородат, старше Сергея лет на десять. На столе неряшливо: пара пустых пластиковых «соточек», с нескольких сторон над-

кусанный бутерброд с сыром, что-то из недопитого... Третий томатного сока.

– Сереженька! – поприветствовал Ольховского Аркадий, пригласительно махая рукой. Ольховский кивнул. Света подняла глаза от книжки:

– Сереженька, кофейку?

– Соточку, – улыбнулся он.

Ольховский здесь редкий гость, но его знают и как-то по-своему ценят за интеллигентность.

– Да, соточку, – повторил он, и Света удивленно приподняла нарисованные штришки бровей. Обычно он заказывает кофе.

– Беленькой?

– Да, – с улыбкой подтвердил Ольховский.

– Сереженька, Вы какими судьбами? – Традиция называть друг друга на «Вы» понравилась Ольховскому сразу, и он, придерживаясь ее, отвечает:

– С Вами, Аркадий, всегда...

– Очень рад... Очень! – Аркадий поднял рюмку, другой рукой вытирая бороду от налипших на нее крошек.

Ольховский в ответ тоже приподнял невесомую пластиковую «сотку».

Ему так хочется выложить Аркадию все, что связано с Настей, с его переживаниями, но он знает: этого делать не стоит. Это пустое. Место, которое он выбрал, – не для таких разговоров. Пенсионная реформа, события на Украине, смена

губернатора... Парник на балконе, биотуалет на даче, самогонный аппарат своими руками... Душу раскрывают только совсем опустившиеся пьяницы, а на кафе у них просто нет денег. Рабочий класс живет более прикладной жизнью. Даже о бабах рабочий класс говорит немного стыдливо, просто не зная предмета. Уставшая и бесполезная жена обычно не в счет.

Хотя Аркадий не такой. Но по законам этого места Ольховский не лез к нему с разговорами. Слово «душа» – и в стихах, и в кабаках – слово пошлое.

– И надолго Вы развязали? – поинтересовался Аркадий, продолжая выкатывать, хотя ритуал соблюден и можно смело переходить на «ты».

– Жена в отъезде... – ответил Ольховский, веря, что этой информации достаточно.

Он смотрел на впившегося в бутерброд Аркадия, на его заросшие мягким волосом щеки, понимая, для чего занесло сюда его самого. В кафе сто граммов беленькой зачастую являются лишь поводом изменить одиночеству...

Ольховский из хулиганства мог бы позвать Аркадия с собой, но тот, конечно, отказался бы и даже удивился сальному предложению. Здесь это тоже не принято... И все же Ольховский произнес:

– Аркадий, почему Вы сидите здесь в одиночестве? Мне кажется, что Вам не хватает женского пола. Не пойти ли по девочкам? – В этой шутливой фразе есть доля правды, и Ар-

кадий настороженно поднял бровь, сопя при этом, как все очень полные люди.

– Что я слышу? Вы же, кажется, женаты? – Аркадий знал, что Ольховский женат, и даже не раз видел его жену, но правила игры предполагают сомнения и даже забывчивость.

Дальше необходимо сохранить лицо. Не запятнать жену пренебрежением, но и не отступить.

– Я об этом помню. Но весна...

– Уже почти что лето...

– Ничем Вас не проймешь, Аркадий...

– Да, – заключает тот. – Может быть, еще по соточке? Светочка...

Аркадий был женат трижды. У него три дочери. Может, он просто устал от девочек и предпочитает общество собутыльников?

– Хотите свежий анекдот? – интересуется Аркадий, и Ольховский не может честно ответить ему «нет».

* * *

Вырваться от приветливого толстяка удалось только через час, когда в кафе образовались новые посетители, все – знакомые Аркадия. Ольховский, ловя момент, торопливо откланялся и выскочил на воздух.

Он прошел два квартала, подумав, купил в подвальном магазине того самого дома, куда он шел, бутылку шампан-

ского и набрал телефон.

– Алло-о, – томно донеслось до него из недр аппарата. Это была Рыжая, Ольховский знал ее, администратора. Она всегда так говорит «алло-о», как будто параллельно с разговором откусывает что-то сладкое. У нее с ресниц сыпется черная тушь, и лицо она обрабатывает каким-то жирным кремом. Ольховский подозревал, что, если бы не возраст, она сама не прочь бы пополнить штат своих куртизанок, так она любезничает с ним, если он приходит.

– Здравсьте. Кто из девчонок свободен? – Он говорит бодрым голосом, хотя все эти условности ему неприятны. Слово «девчонка» несет в себе какой-то здоровый задор. Эти же – кто угодно, но вот не «девчонки».

– Девочки? – переспросила та и начала перечислять. Ольховский готов был поспорить, что она загибает пальцы.

– Сейчас три девочки есть: Оля, Альбина и Мариночка... Виолочка должна прийти через полчаса... А вы когда планируете подъехать? Может, еще Диночка освободится.

– Да нет, я тут рядом...

Альбина и Мариночка Ольховскому были знакомы, он даже помнил имя Мариночки, крашенной в брюнетку, – Олеся. Глуповатая девка. Да и Альбина, чернобровая красавица восточных кровей, – отнюдь не его чашка чая. У Альбины над губой есть крошечные черные волоски, похожие на усики.

Остается неидентифицированная Оля, или, если подождать полчаса, неизвестная Виола, или красивая высокая

Дина. Неприятно только было думать, что Дина может попасть к нему напрямик из чьих-то потных и, учитывая субботу, нетрезвых лап и, что хуже, прямо из-под нетрезвого, потного тела. Целовать ее соски – как пить пиво из одной бутылки с предыдущим ее клиентом, даже хуже! Хотя все они там из-под... Плюс-минус.

В общем, все надежды Ольховский возлагал на Олю: может быть, она не подведет?

– Ладно, – наконец произнес он. – Буду минут через десять.

– Ждем! – опять откусила сладкого Рыжая. Такие, как она, мягко стелют, да и спать-то мягко, он знает, но упаси Бог иметь с ней разногласия. Хотя какой Бог, ему здесь, понятно, ходу нет, конечно, упаси Дьявол... Этой Рыжей палец в рот не клади...

Плести причинно-следственную паутину между появлением сыновней принцессы в их квартире и сомнительными похождениями Ольховского сейчас было бы слишком примитивным. Если бы каждая красotka вызывала такой приступ, не хватило бы ни страстей, ни денег. Настя напомнила о еще не уснувшей потребности в таких Настях – тех Настях, которым двадцать, а не сорок... О Настях с розовой кожей и хорошими зубами, в меру остренькими к тому же. О Настях со странным выражением наивности и порока в глазах. И потому даже в том месте, куда он направлялся, был большой риск не найти того, что ему требовалось по несправедливо-

му к женам закону природы. Порока там сколько угодно, а вот наивности...

В общем, все равно это был эрзац! Заменитель. У той, кто была нужна Ольховскому, от Насти должны быть как минимум юность и хоть какое-то, пусть незаслуженно нарисованное им, подобие несмятости. Не много ли требований к одной неизвестной Оле?

Он набрал код на парадной, поднялся на лифте на одиннадцатый этаж. Не дожидаясь звонка, дверь лязгнула и закрипела.

– Здравствуйте, – широко разомкнула на помаженные губы Рыжая, изображая улыбку. Он кивнул и принялся разуваться.

Только пара ботинок стояла в коридоре. Не время – основное гульбище начинается позже. Тем более в субботу...

– Проходите вот сюда, сейчас девочек позову...

Ольховский сунул ноги в резиновые тапочки, прошел в крайнюю комнату и сел на кровать. В комнате резко пахло табаком, как в мужском туалете. Сейчас окажется, что Оля и Мариночка уже заняты, а вот Альбиночка готова в лучшем виде. И он обреченно останется с Альбиночкой, предполагая, что ей уже под тридцать и что под косметикой она прячет те самые усики. Останется, потому что ему просто неудобно ее обижать. А она, кукла, этого не поймет и будет, как все восточные проститутки, слишком назойливой и ненатурально нежной.

Первой появилась, однако, Оля. Опустила голову то ли для приветствия, то ли для поклона. Простое лицо. Длинные кукурузные волосы падали ей на голые плечи. Налитая коровья грудь – предел мечтаний подгулявшего колхозника. Повернувшись спиной, Оля предложила белые и крупные, как антоновские яблоки, ягодицы с влившейся между ними ниткой трусиков.

Ольховский погрузился. Она, наверное, ласковая, эта Оля, как все колхозные девки. Такие любят его за вежливость и, если здесь уместно это слово, за интеллигентность. Будет лежать на животе рядом с ним и целовать его, например, в плечо.

Вошла Марина, брюнетка с пухлыми щеками. Эта даже без лифчика. Не помнит Ольховского, конечно... И он ее тоже почти уже не помнит.

Вместо Альбиночки вошла Рыжая.

– А Альбиночка уже занята...

И, прочитав на его лице разочарование от таких угощений, ухватилась:

– Скоро Виолочка придет, новенькая. Я могу вам пока кофе налить?

Надежды на Виолочку уже не было.

– Видно, не мой день, – пробормотал Ольховский и поднялся с дивана.

Рыжая скривила ему напомаженную улыбку, готовую сползти в гримасу.

Ольховский снова вышел в коридор, надевая кроссовки, с тоской огляделся вокруг. В двух-трех остановках отсюда было еще одно подобное заведение, но повторяться уже не хотелось. Сначала он подумал оставить шампанское, но в последний момент прихватил бутылку за горлышко и вышел на лестничную площадку.

После созерцания неэстетичной Мариночки даже греза о Насе приобрела нехорошие черты общественной уборной.

Ольховский знал: можно прямо здесь, за домом, в стороне от детской площадки, выпить приготовленную бутылку, и его уделом станет Оля или Марина... Или даже теоретически усатая Альбина, что вообще антиэстетично, а значит, противоположно его сегодняшней цели.

Так он размышлял под шум спускающейся к свету кабины. Наконец лифт толкнулся и остановился. Потом медленные двери поползли в стороны. Щель между дверями расползалась, как занавес в театре, и в полумраке подъезда Ольховский угадывал стоящую за ними в обратном порядке: сначала черты лица, потом понемногу фигуру и в конце, когда двери открылись, ее силуэт.

Двери разъезжались долго, он сумел присмотреться к ней почти что внимательно. И ему стало не по себе оттого, что она могла быть как раз той «новой девочкой». Восемнадцать ей было безусловно, двадцать – едва ли... То есть на лице были все признаки зачаточного совершеннолетия: смесь уверенности, которая отличает восемнадцатилетних при покуп-

ке, к примеру, сигарет, и естественного подросткового любопытства. Восемнадцать ей было еще и потому, что на тощих, обутых в короткие сапожки ногах покачивалось вполне себе зрелое туловище с приятными глазу округлостями.

Она была высокой, ростом с Лену, может, даже и выше! Тонкие, миниатюрно-рельефные ноги уходили в короткую юбку. Наличие талии. Скрытая джинсовкой грудь. В дополнение ко всему – крупные, коньячного цвета кудри и выбритые височки.

Девушке понадобилось сделать движение, чтобы стряхнуть его взгляд, прилипший к ней на лишнюю долю секунды.

Ольховскому показалось, что они прошли сквозь друг друга – никто никому не уступал дороги. Двери сомкнулись, и он прислушался, остановится ли лифт на заветном одиннадцатом этаже или выпустит девочку раньше.

В другой раз он бы даже обрадовался, остановись лифт на третьем или пятом. Но точно не сегодня. Несбыточная мечта вдруг стала ощутима и досягаема.

Удовлетворившись тем, что расставание лифта с юным телом произошло высоко, Ольховский вышел во двор. Минут десять он сидел на невысокой оградке газона и размышлял.

Ольховский думал о том, что она все же таки не Настя. Кожа у нее не розовая, а скорее смуглая, темнее Настиной... И невинности в ней нет совсем, хотя сам возраст подразумевает ее, пусть даже остаточное, наличие. Может быть, она вообще не «новая девочка», а ни в чем не повинная жилищ-

ка верхних этажей. И у нее есть папа и мама... Вообще-то, у всех они есть – папа и мама... Разве что позвонить рыжей бабе-администраторше... Спросить, не ваша ли девочка мне встретилась в лифте. Такая, с тощими обалденными ногами...

Все эти мысли было притягательны и противны одновременно. Отказаться от новенькой, если это была она, не хватало мужества, и он набрал Рыжую.

– Да, это Виолочка... – подтвердила та с самодовольным превосходством в голосе. И вдруг добавила: – Понравилась?

– Да, – честно ответил Ольховский.

– Ну, приходите же... Я Виолочке сейчас скажу...

Она подождала еще немного и, не дождавшись ответа, положила трубку.

* * *

Однажды Ольховский был почти влюблен в местную фею по имени Сицилия, пока она не сменила место работы. Это была рослая белокожая и вечно печальная брюнетка. Кто придумал этой Ире такое дурацкое прозвище, он не спрашивал, но, даже узнав ее имя, все равно называл Сицилией. Ее провинциальность компенсировала любознательность. Если они с ней пили шампанское и болтали, она много спрашивала, что, вообще-то, не очень характерно для них: древняя профессия предполагает мудрость. Получая ответ, одно-

сложно комментировала: «Понятно». И спрашивала еще.

Если у нее случался оргазм – чуть не плакала. Ольховскому нравилось ее жалеть. По ее словам, у нее был парень, который ничего не ведал о роде занятий подружки. Сицилия рассказывала об этом так доверительно, что к парню он не ревновал.

Влюбленность обходилась Ольховскому довольно дорого: тогда еще основным его доходом была верстка, и он с облегчением вздохнул, когда узнал, что Сицилию-Иру «вывели из состава», как сказала по телефону предшественница Рыжей. Будто Сицилия-Ира состояла в женской футбольной команде. Вздохнув с облегчением, Сергей подумал, что будет скучать, и, кажется, даже напился в тот день.

Со времен Сицилии прошло два с лишним года, и ни одна фея из тех, что были потом, почти не трогала его. У Виолы получилось, хотя видел он ее едва ли минуту.

И опять все было то же самое: Рыжая обула Ольховского в резиновые тапки и оставила в комнате одного со словами: – Виолочка сейчас переоденется.

Комната была другая, в ней тоже было накурено, но не так сильно. Шкаф, телевизор, музыкальный центр на прикроватной тумбочке, темные шторы на окнах. Кровать без простыни. Страшная казенщина со следами беспомощного обуючивания.

С той стороны зашуршали шаги, и хлипкая дверь дерну-

лась. Виола просунула голову. Удостоверившись, что клиент на месте, внесла себя всю...

– Привет, – поздоровалась без улыбки. Как показалось Ольховскому – рассматривая его с любопытством.

Он ее – тоже. Из одежды на ней были только черные кружева. Виола приехала с юга, это угадывалось в ней сразу: такой кожи красивого цвета, цвета кофе с молоком, не может дать ни один солярий. Тем более под краешком лифчика виднелся кусочек груди, где загара было намного меньше. У нее были великолепные длинные худые ноги, тонкие, как у манекенов, руки, маленькая грудь, способная уместиться в ладони, – ничего лишнего, Ольховский не ошибся. Девочка Виола была не для вульгарных – тех, кто любит тискать мягкое, она была для той породы избранных, что любит ломать хрупкое...

В левой руке она держала стопку белья, как проводница в плацкарте. И точно так же бросила его на кровать рядом с ним. Протянув большое, размером с простыню, полотенце, произнесла:

– Иди в душ, я пока постелю... Или тебя проводить?

– Я знаю, – произнес он первые слова.

Он разделся донага быстро, как солдат, обернул полотенце вокруг бедер и направился в ванную, служившую еще и уборной. В конце коридора, за цветастой цыганской занавеской, он знал, находилась кухня. Из-за цыганской занавески ему были хорошо слышны голоса Рыжей и какого-то мужи-

ка. Вообще вся огромная квартира, как комната страха, была наполнена различными звуками, скрипами, шорохами – наверное, оттого, что всё в ней, кроме звуков любви, делалось вполголоса, за дверями и занавесками. Сами звуки любви доносились из соседней комнаты – слишком громко и оттого фальшиво изображала гиппопотамью страсть высокая, серьезная девочка Дина...

Постояв под соском душа без лейки, он окатил себя теплой водой, вода, как в общественной бане, падала прямо на кафель. Потом вытерся и, вернув полотенце на бедра, снова оказался в комнате.

Виола сидела на кровати, поджав под себя ноги. Ольховский подошел поближе, и Виола легким жестом руки уронила его полотенце на пол.

С Настей он ее, конечно, уже не сравнивал, Настя все равно волновала его сильнее. Но Виола была здесь и сейчас, живая и подвижная. И вряд ли она была старше Насти, если не сравнивать их жизненный опыт. Проституция пока не стала ее профессией. Чем угодно – методом познания жизни или выражением протеста – неважно... Для профессии Виоле не хватало бесстрастности. Много еще чего не хватало, она была тороплива, например, но вот бесстрастности в ней не было совсем. Нельзя тратить себя всю – тогда скоро вообще ничего не останется.

– Тебе так нравится? – прерывалась она несколько раз, как будто он был бессловесным и бездвжимым существом.

Потом неожиданно резко завелась, хотя сперва тоже стонала громко и ненатурально, так что ей можно было бы сделать замечание.

Когда Ольховский поверил, что она тоже все чувствует, ей оставалось совсем немного... Ускорившись, добавил свои толчки семени к ее судорогам... Потом лежал, закрыв глаза, и целовал ее острое плечо.

– Оставь, я сам, – произнес, когда она потянулась за салфетками. Снял, положил на край тумбочки презерватив, вытерся.

– Тебе понравилось? – спросила она, глядя в потолок.

– Понравилось, – как можно теплее ответил Ольховский, радуясь тому, что не приходится врать.

Она согнулась приподнимаясь. Взяла с тумбочки сигареты:

– Я покурю, можно?

– Кури.

– Будешь? – Она пригласительно протянула ему пачку длинных женских сигарет.

– Бросил. – Закурить ему очень хотелось. – Давай бутылку...

– Подожди, я принесу бокалы...

Она встала, гибкая и тонкая. Глянцевая оттого, что какие-то капли солнца проникали в окно сквозь шторы. Держа сигарету губами, обернулась в его полотенце. Скрипнула дверью.

Тотчас вернулась с дешевыми пластиковыми бокалами в руках.

Сбросив полотенце, поставила бокалы на стол. Ольховский открывал вино, которое вдруг брызнуло из-под пробки на все вокруг: на него, на пол и на Виолу тоже. Она даже вскрикнула.

– Ничего, – сказал он, глядя, как капли шампанского стекают по ее груди и, не срываясь, ползут дальше, на живот.

– Да ладно, – подтвердила она. – Слушай, а можно я трусы надену? Мне как-то неудобно...

– Надевай, – разрешил он.

Они подложили под спины подушки, налили вина. Ему хотелось разговаривать, но она опередила его:

– Тебя как зовут? – Виола сделала глоток и прикурила новую сигарету. – А то ведь так и не познакомились.

Ольховский помолчал. Он зачем-то хотел спросить, нужно ли ей его имя, а потом просто ответил:

– Сергей. А тебя? Не дурацкая же Виола?

Она улыбнулась. Завиток волос прилип к ее виску.

– Да нормальная Виола, чего там...

– Ну а все-таки? – настоял он.

– Лика.

– Тоже сочиняешь?

– Да ну нет! Лика. Анжелика! А чего? У нас в классе две Анжелики были и две Кристины!

– Ну да, – подумав, произнес он, – сейчас Наташу или Ка-

тию уже и не встретишь. Ты какого года рождения?

– Сколько мне лет?

– Ну да, сколько тебе лет?

– Девятнадцать.

– И ты из Ростова?

– Почему из Ростова? Что у меня – акцент? Почему ты узнал? Хотя я и не из Ростова, а из Сальска.

– Все самые красивые девки живут в Ростове, – пошутил он, вытягивая ноги.

– А-а... понятно, – рассеянно ответила Виола. Лица ей, конечно, подходила больше.

– Сальск – это где? Знаю, что на юге...

– Это недалеко от Ростова, ты угадал. – Она поправила подушку, и невинно-розовые, легковесные груди покачнулись.

– Ну а как же ты из Сальска сюда попала, Лица-Анжелика?

– Тебе интересно знать, как проститутками становятся? – задиристо огрызнулась она безо всякой злобы.

– Нет, мне интересно, как ты в Питере оказалась?

– Как? Я давно в Питер хотела. Потом села на поезд и приехала. Как еще в Питере оказываются? Приехала, комнату сняла на Просвете, пошла в «Ашан» работать на кассу. Но там вообще отношение скотское!

– Хуже, чем здесь? – удивился Ольховский.

– А здесь нормальное! – удивила она его еще раз. – Если бы вы еще столько не пили...

Сергею не хотелось ее перебивать, но она замолчала.

– Обычно проститутки врут, когда рассказывают о себе... – Раньше Ольховский боялся обидеть девчонок конкретикой. Потом понял по их реакции, что ничего зазорного в слове «проститутка» нет. Как нет ничего зазорного в словах «учитель», «врач», «парикмахер» или «сутенер».

– А мне-то чего врать? Что больная мама или брат – так уже и не врут... Про детей вроде...

– Да, про детей, – улыбнулся Ольховский. Чуть ли не у каждой феи оказывалась дочка, которую нечем кормить. И почему-то именно дочка!

– Тут у многих дети... Ну как у многих... Есть, короче. – Лика забыла про сигарету и уронила пепел себе на живот. Выругавшись, попыталась собрать пальцами комочек, который тут же рассыпался в прах. Она стряхнула прах с живота, и на ее коже осталась серая полоса.

– Хотя мы с девочками здесь почти не общаемся, – продолжала она. – Так – перекинулись инфой. Здесь дружбы нет, я это сразу поняла.

– Не обижают здесь? – спросил Ольховский так, будто он что-то решал в судьбе этой девчонки, мог что-то в ней изменить.

– Нет вроде... Ну пьяные придут – то им анал подавай, то еще чего-нибудь... Я же тут всего ничего – полтора месяца.

– А до этого?

– Я же говорю, в «Ашане», ну...

Ольховский подвинулся к ней поближе, равнодушие к ее

телу стало проходить. Он принялся стирать с ее живота след от пепла, чувствуя ладонью мягкую теплую кожу.

– В общем, здесь лучше, чем в «Ашане», так? – подытожил он. Ему было интересно.

– Лучше...

– Но ведь всякие приходят – пьяные и черные... Толстые...

– С черножопыми я не работаю... Пьяные – да, половина пьяных. Ты, по-моему, тоже до меня выпил, а? А толстые – ну что с ними делать... Ну толстые. Это же, вообще-то, работа! Хотя бывают фу какие вонючие. – Лица даже прикрывала нос для достоверности.

Ольховский замолчал, пораженный примитивной логикой. Работа – и всё тут. Притом он бы не был шокирован, если бы такое сказал ассенизатор.

– Мне кажется, я тут не задержусь... Знаешь почему?

Он подождал, пока она воспримет его молчание как вопрос.

– Потому что перед каждым клиентом я немного волнуюсь, что это будет за чел. – Она опять прервалась, как будто бы взвешивая, рассказывать Ольховскому всю правду или нет.

– Все сперва волнуются, – жестоко отреагировал Ольховский, как будто бы он был изысканным знатоком в этой области, – а потом привыкают. Да и деньги засасывают.

– Деньги – да... – задумчиво произнесла она.

– Удовольствие получаешь? – Ему хотелось раздражить, растревожить, как зубную боль, ревнивую фантазию.

– Ну ты же видел... – коротко ответила Лика, уже немного реагируя на его сделавшиеся настойчивыми ласки. Она развернулась к нему лицом и тоже принялась водить по плечам теплой ладонью...

– Я здесь не так долго, я же говорю, – и слегка капризно добавила: – Хватит меня пытаться, почему ты такой приставающий?

Ольховский уже не понимал, к чему относилось последнее.

Она переместила голову повыше, приподнялась и мягко куснула его в губы. Потом провела языком по деснам. Позволила просунуть кончик языка себе в рот, хотя профессия не предполагает поцелуев, учитывая даже более глубокие проникновения.

Ольховский прижал ее к себе – грубовато, пожалуй...

– Подожди, не так... Погладь сначала...

Презерватив она снова надевала руками – еще один признак непрофессионализма.

Во второй раз ему не удалось довести ее до сладких судорог.

– Прости... Я же вижу, что ты очень старался... – склонилась она над ним, покусывая ухо, когда он расцепил объятия и отвалился от нее.

Он смолчал. Он делал все как надо, он это знал, но при

этом упустил что-то психологически важное для Анжелики.

– Тебе понравилось? – так же, как и в первый раз, спросила Лика, словно отмечала это в дневнике какими-нибудь плюсиками и минусами.

– Я в тебя влюбился, – так же тихо прошептал он ей, когда глаза ее были близко-близко, ведь такую чушь можно говорить только так.

В этот момент в дверь постучали.

– Ну-у, – огорчилась она. – Останься еще на часик, если у тебя есть деньги.

– Пора идти, – выдохнул Ольховский. Ему вообще не хотелось уходить, и поэтому уйти надо было непременно. Тянуть сладкие «часики» можно было до тех пор, пока не кончатся деньги. С каждым последующим «часиком» он все больше привязывался бы к девчонке. Объяснять ей это он не стал.

Ольховский сел на диване, потрепал сбившиеся на сторону ее кудри:

– Пора, пора... Я приду еще, если ты не против.

– Как я могу быть против? – логично ответила Лика.

Он вздохнул и принялся одеваться.

– Приходи, – пригласила она его еще раз, стоя перед ним и расправляя на бедрах черные кружева условных трусиков. В них ее тощие девчоночьи ноги казались еще длиннее. Ниже колена и у лодыжки Лика завела себе два потемневших синяка. Щедрое солнце города Сальска сделало коричневатой

кожу там, где тело не прикрывало белье, и гладким девчоночьим ногам не хватало только крапивных волдырей, которыми могут похвастаться подростки чуть младше ее.

Наконец они вышли в коридор.

– Ну, пока, Анжелика, – произнес Ольховский с нарочитой грустью.

– Пока. – Она весело смотрела на него из-под кудрей и вдруг приклеила к его губам звонкий, сухой поцелуй.

– Я приду, – тихо повторил он, чувствуя к ней легкую, кукольную нежность.

Она кивнула. Из кухни слышались неторопливые шарканья Рыжей.

– До свидания, – кивнул он и ей из приличия.

– Приходите к нам еще, – медово звучало из ее нарисованных губ.

Он нашел в себе силы оторваться от Лики и открыть дверь на лестницу. В компании Рыжей сделать это было гораздо проще. Дверь в сказку захлопнулась за ним с металлическим лязгом.

Сначала ему хотелось кричать, потом выпить. А затем Ольховский пошел домой: во-первых, выпивка есть дома, а во-вторых, главные приключения дня с ним уже произошли и глупо было рассчитывать на что-то большее.

Вернувшись, он намеренно громко открывал входную дверь – мало ли что! Оказалось, не зря. И хотя дверь в комнату сына была закрыта, он знал: за ней шумно шевелилось живое содержимое.

– Папа, привет, – донеслось из-за двери. Видимо, отвлекся-таки сын, чтобы обозначить свое присутствие. Не виделись-то часа три.

– Привет, – откликнулся Ольховский.

Через какое-то время в уборную вышла Настя, и на ней был надет длинный мешок утренней сыновней футболки. Хотела, наверняка, проскользнуть незамеченной. Голые ноги... Твою мать!

Почему же, думал Ольховский, он должен выискивать средства для того, что сыну по праву молодости достается даром...

Сын стоял на пороге комнаты, как будто бы виноватый в чем-то.

– Пап, можно Настя у нас останется... – мнется, подбирает слова, которые никогда не говорил. – Мы же тебе не мешаем?

«Хороший ход», – оценил Ольховский. Открыл заветную дверцу, достал бутылку – пусть видят, что отец тоже развлекается.

– Можно! – широко разрешил он.

Удивлен? Нет, скорее, обрадован, что все случилось без лишних вопросов.

– Пусть остается. Но, Дим, я прошу – с Настинными родителями проблем не будет?

– Нет, не будет. Сейчас мы позвоним.

– Видишь, какой я молодец, не то что мать... – попытался пошутить Ольховский.

– Мама бы разрешила...

«Еще бы и за резинками сходила...» – цинично подумал он.

Сын уже почти не смотрит в его сторону, сыну кажется, будто он вырос. К тому же Димка думает, что у него почти семейная жизнь... Он же не знает, что настоящая семейная жизнь начинается даже не тогда, когда люди женятся, а тогда, когда проходят страсти. И об этом Сергей пока ему ничего не скажет.

– Еще, Дим...

– Ну? – смотрит уже с подозрением. Вдруг отец в нагрузку к Насте придумает ему какую-нибудь работенку?

– Неудобно об этом говорить, но вы там... – Он выждал паузу. – Бабушкой и дедушкой нас с матерью не сделаете раньше времени?

– Я понял, понял... – забасил сын недовольно. Будто Ольховский влез во что-то такое, что его вообще не касается. А ведь касается, да еще и как – очень не хочется в сорок один становиться дедом... – Предохраняемся... – развеял он кон-

кретикой сомнения отца в том, правильно ли он понял...

Сказал он это громко – скорее всего, Настя его услышала... Может быть, даже ухмыльнулась опасениям папашки. Все они – мальчики и девочки в восемнадцать – чувствуют себя очень взрослыми...

Тут сын сощурил глаза и, подойдя ближе, принюхался:

– Чем от тебя так пахнет?

– Ничем, – глупо соврал Ольховский то первое, что пришло в голову.

– Блин, куревом и еще чем-то, вкусным... Ты где был?

Сергей был уверен, что Димке и в голову не пришло ничего такого – естественная реакция на незнакомый запах. Точнее, запахи...

– Да нигде я не был... – особо изворачиваться не придется, через пять минут сын забудет об этом происшествии.

– Ладно...

Действительно – ладно! Учужал-таки самку... Дети растут быстрее, чем кажется. Футболку надо бы сменить. Да и под душем ополоснуться не помешает. Оставив бутылку, он второй раз за день проследовал в душ.

Стоя под горячей водой, с сожалением намыливаясь и смывая Ликины запахи, он размышлял о том, что с Ликой ему хотелось бы остаться до утра, что было редкостью. Даже его прошлая зазноба, Сицилия-Ира, утомляла его некой сумрачностью. Через пару часов от нее, от Иры, хотелось отдохнуть, выйти на воздух из сладкого и удушливого развращения.

та. Лика же была цветочной феей. С ней хотелось не только секса – с ней было бы здорово валяться на васильковом лугу и болтать, бесконечно гладить ее по спине и ниже талии. Может быть, поэтому его сейчас и ранит Настя? Ее тоже хочется гладить по спине и...

– Пап! – позвал Димка из-за двери, когда Ольховский уже вытирал голову.

– Выхожу, – отозвался он, отодвигая щеколду.

– Слушай, поговори с Настиной мамой, пожалуйста...

Сын стоял перед ним, держа в руке телефон.

– Я-то зачем?

– Нью! – позвал он.

«Ах, как оно ей подходит, это Нью», – подумал Ольховский.

«Нью» появилась уже немного одетая, к футболке добавилась еще и юбка. Бюстгальтера под футболкой, правда, не было – остренькими вершинками холмиков сквозь ткань торчали соски.

– Скажи ее маме, что ты не против, если Настя у нас останется.

– Я не против, – ответил Ольховский. Потом, собравшись с мыслями, добавил: – Ну давай...

– Как маму-то зовут? – зашептал он, когда в трубке пошли длинные гудки.

– Александра Владимировна, – шепотом сообщила Настя и улыбнулась ему. Улыбнулся и Ольховский – детям хоро-

шо, и какой-то отцовской части всего Ольховского это было приятно.

– Да, Настя... – взяла трубку Александра Владимировна. Голос у нее оказался с хрипловатой патокой – чем-то напоминает голос рыжей администраторши... Вот было бы смешно, если бы оказалось, что это одно и то же лицо!

– Александра Владимировна, здравствуйте, – пророкотал он. – Это отец Дмитрия.

Ольховский боялся рассмеяться, если Настина мама спросит «какого?» Нет, Настина мама – мама чуткая.

– Здравствуйте. Я хотела спросить, они вам там не мешают? – Голос Александры Владимировны был прокурен и немного визглив. Такую тональность нередко придают ежедневные аперитивы.

– Они в своей комнате, – честно ответил Сергей. Ему даже пришло в голову, что он как будто должен отстаивать честь детей перед этой дамой.

– Вы их гоните гулять... – не отпускала его собеседница.

– Да-да, конечно... – Сергей чуть не сказал «отвяжись». Поговорив с ней полминуты, он точно нарисовал, что из себя представляла Настина мать. Вот и все объяснения девочки Насти. В юности Ольховскому нравились такие девушки, как она. И у таких девушек, как она, были такие же непутевые матери! У многих непутевых мам рождаются и вырастают красноротые оторвы. Зачастую при этом с хорошим воспитанием. И никаких секретов.

– Всего доброго, – добавил он в надежде завершить бессмысленный разговор.

– Спасибо вам... – не хотела сдаваться она.

Он безжалостно нажал отбой.

– Свободны! – весело и широко распорядился Ольховский. Отдал Насте телефон так, чтобы избежать излишних прикосновений к ее ладони.

Уже ночью, когда Ольховский заглушал телевизионной чепухой пока лишь смех детей, позвонила Лена.

– Как вы там, мои мальчики? Сыты? Довольны? Накормлены? – благодушно, спотыкаясь о согласные, поинтересовалась она, немного дурачась.

– Наклюкалась? – спросил он беззлобно.

– Ой, да ну тебя... – ухмыльнулась трубка Лениным голосом. Значит, наклюкалась. Это хорошо. Иногда Лене полезно выйти за рамки приличия.

– Чего мой сыночек делает? – дурашливо продолжала она.

– Да они тут с Настей... – не договорил Ольховский, как она с лету схватила наживку:

– А! Скажи, Ольховский, они пользуются резинками? Меня это беспокоит...

– Да, – ответил он.

– Что «да»? Пользуются? Ты спросил?

– Да.

– Молодцы! – неожиданно выдала она.

– Ты им еще медаль повесь. – Он усмехнулся.

– Да ну тебя, зануда, – повторила она. Потом что-то долго раздумывала и закруглила разговор:

– Ну все, пока. У нас с Любкой дела, да, Любка? У нас утка, Ольховский! Прикинь – утка! Ладно, пока, Ольховский! Ты слышишь меня? Пока!

Он нажал отбой. Как ни странно, жена в надежных руках. Если бы она оставалась там подольше, было бы вообще прекрасно.

В первом часу ночи началось. Видно, матери они стеснялись больше, чем его. Сергей сделал телевизор погромче, проглотил рюмку коньяка и лег в постель. А вообще-то, можно было и поберечь его нервы! Причем шумела одна Настя. Забыла, что находится в чужом доме? Эти звуки надо было объяснять не страстями, подумал Ольховский, а отсутствием воспитания. Сами они в юности свои страсти из приличия пытались скрыть. Эти – нет, даже не пытаются. Что она хочет показать Ольховскому, эта «Ню» с совершенными женскими данными? Что сын имеет все самое лучшее? Ольховский ненавидел излишнюю скромность, но сейчас об излишней не было и речи. Дайте хоть какую – захудалую.

И у Ольховского впервые внутри что-то дернулось в другую, необычную сторону. Он испытал симпатию к Лике-Анжелике. Он почему-то был уверен, что она бы не унизилась до такого разврата, потому что ей это ни к чему. Размышляя таким образом, Ольховский почувствовал, что засыпает.

Утром ему потребовалась таблетка цитрамона. Рассуждать о высоких материях было тягостно. Состояние это прошло только к полудню.

Настя, понятное дело, уходить не собиралась. Ольховский слышал, как сын довольно уверенно шурует в холодильнике и гремит крышками от кастрюль. Захрипела кофеварка. А потом, обезумевшая от ночных походов и ароматная, как винный погреб, явилась Лена. С ней такие загулы случались очень редко.

– Ольховский, как я хочу спать! Тебе привет от Любы.

Любу он не видел ни единого раза, но сейчас это было неважно.

– Явилась? – Он не улыбался, но Лена все знала про его внутреннюю улыбку и подыграла:

– Не запылилась! А ты бы хотел, чтобы я там навсегда осталась?

– Неплохо было бы...

Лена сняла туфли и прямо в вечернем платье с ногами забралась в кресло. Из разреза платья торчала голая блестящая коленка.

– Ты бы платье сняла... – замечает он.

– Да ну... Его все равно придется стирать, я его вот винегретом запачкала...

В ее руках банка какого-то сладкого алкоголя – эти напитки Ольховский не пьет с тех пор, как у него появились деньги. Лена, напротив, с удовольствием, редко, правда, потреб-

ляет такие коктейли.

– Голова болит, – пожаловалась она, – и в такси укачало.

– Ну сделай «пс-с-с-с», – смеется он, как бы разрешая открыть банку. И этот сценарий известен и ему, и ей.

Она вытягивает ноги, открывает банку. Ноги у нее красивые до сих пор – изменилась надстройка.

– Ну как они тут, ну, расскажи... – понизила голос она, приготавливаясь слушать. Как будто ушла не вчера, а месяц назад и ждет подробного рассказа.

Ольховский подумал о том, что ей не надо знать подробностей и его соображений на этот счет. Женский мозг способен найти такие логические цепочки, от которых потом может сделаться дурно. Поэтому ограничился нейтральным «нормально».

– Ну а чего они делали? Расскажи, ну, расскажи!

– Ходили в туалет. По-моему, даже на кухню. А так – в своем логове сидели.

– Ты не хочешь со мной разговаривать? – ненатурально печалится она (это есть в сценарии) и снова делает глоток из банки.

– Мне просто нечего рассказывать.

– Но ты же целый день с ними сидел...

– Нет, я ходил... – Если даже он скажет куда, Лена этого не заметит. Продолжение может быть таким:

– «Я ходил в бордель».

– «Ну и что? Ты же там не весь день провел?»

На деле так:

– Ну и черт с тобой, – глоток. – Как мне надоели эти туфли! – Она крутит ступнями, шевеля пальцами.

– Что Люба? – спросил он, чтобы не молчать.

– Я сейчас начну рассказывать, а ты через пять минут строишь рожу и скажешь «понятно», – задирается Лена и демонстрирует Сергею эту его «рожу», скривив губы и сделав большие глаза. В такие моменты она ему дорога, смешная и непутевая, но в семейном кодексе, увы, не прописана его сентиментальность. Он, согласно кодексу, должен быть ворчливым, вечно недовольным занудой.

«Понятно» чуть не вырвалось у Ольховского. Что может случиться у Любы такого, что его бы удивило?

Как-то Лена призналась, что в обществе Любы называет Ольховского «мой». В таком себе простонародном смысле: «Мой вчера пришел пьяный...» или «Я своего в магазин послала». «Мой» звучит слишком посредственно и коммунально, не говоря о том, что после этого слова хочется сразу добавить уточнение из трех всем известных букв. Он тогда так красноречиво промолчал, что Лена испугалась.

Сейчас Лена сидела и якобы дулась. Значит, еще немного – и начнет рассказ.

К двум часам дня от ее историй устали оба. И он, и она. Когда у Лены кончились слова, она обессилела. Ольховский же тотчас надежно забыл все, что она говорила.

– Ольховский, я посплю, а? Можно подумать, что когда-то

он ей это запрещал.

– Спи, конечно!

Накрытая пледом, скрючившаяся немаленькая Лена казалась ему ребенком.

Проходя в кухню, Ольховский услышал, как сын, доставший из черной дыры антресолей гитару, неуверенно перебирал обрадованные струны. С появлением голоногой музыки возможны и не такие чудеса.

* * *

Многие десятки раз Ольховскому казалось, что надо что-то поменять: сыну в ближайшие годы он не будет нужен совсем, всё, что Димке предстоит постигнуть, Димка должен сделать сам, уже без отцовской помощи. По чужим примерам Ольховский видел, как отношения сыновей и отцов, охладившись лет в шестнадцать, теплеют после двадцати пяти... На своем примере проверить этого он не смог: отца не стало, когда Сергею было двадцать. Внешне они с отцом даже не расходились, просто в какой-то год Ольховский перестал делиться с отцом своими переживаниями: ему небезосновательно казалось, что он справится с ними сам. И отец, вместо того чтобы пододвинуться поближе к сыну, отпустил Ольховского совсем. Тогда этот выбор устраивал всех, сына – в первую очередь. Отец, который никогда не курил, ни слова не сказал Сергею, увидев его с сигаретой, – это было

хорошо. Также отец ни слова не сказал, когда сын привел девушку, потом другую... Это было плохо. Тогда Сергей принял отцовское поведение за равнодушие, хотя позже понял: это было непонимание. Девушки были красивыми хищницами с крашеными волосами, а у отца был другой типаж... На то равнодушие сын ответил зеркально. А потом отец неожиданно умер и уже не мог ничего поправить. И он, Ольховский, поправить тоже ничего не мог.

Теперь Димка должен идти своим путем и совершать свои ошибки, в случае Сергея сейчас главное – не переравнодушничать.

Ольховский никогда не думал о том, как они будут жить вдвоем с Леной, если Димка гипотетически женится или просто уйдет служить. Сергею с ужасом представлялось, что вдвоем им останется только стареть. От этой мысли ему казалось, что он седеет. Нет, помимо Димки их с Леной связывает масса крупных, а крепче – мелких связей, но перспектива буржуазных вылазок в театр и молчаливых поездок на природу не добавляла будущему привлекательности. При этом он не мыслил себя без нее – как руку отрезать.

На время, пусть на неделю, но Ольховскому надо было сбежать туда, где нет Насти, Лены... И где Анжелики кажутся усладой большого и далекого города. После визитов к феям всегда наступало похмелье, эту свою особенность Ольховский знал. И был немало удивлен тем, что как раз от Лики предсказуемое похмелье не приходило. Не было ни сожаления

ния из-за выкинутых денег, ни внутренней сладковатой духоты, такой же, как у них там, в квартире.

Вечером, когда дети все же расцепились и Димка пошел провожать свою искусницу, а проснувшаяся Лена, сидя в постели, жевала яблоко, Ольховский спросил:

– Может, мне на дачу свалить на недельку?

– Ну, если тебе хочется. – Лена потеряла висок, продолжая жевать. – А чего это ты вдруг?

– Да не вдруг... Если они будут теперь туда-сюда ходить, с ними никакой работы... Писать-то когда?

– Они тебе так мешают? – Лена сделала внимательное лицо, будто ожидая от него каких-то невероятных признаний.

– Я же понимаю, что это нужно Димке... – благородно ответил он. – Пусть пооботрутса вдвоем.

– Это хорошо, что ты понимаешь, – прозрачным голосом сказала Лена, думая о другом. Ольховский бы не удивился, если бы она в это время мысленно подбирала свадебный наряд будущей невестке.

– «Лена, я пока в бордель...»

– «Да, только на обратном пути купи хлеба...»

– Ну так что?

– А? – очнулась она. – Поезжай, конечно, если хочешь...

* * *

Вечером они лежали рядом, натянув одеяло, и пялились

в телевизор.

– Думаю, что съезжу... – размышлял Сергей о даче, не глядя на жену.

– Ты возьмешь машину? – осторожно спросила Лена. По тону Ольховский понял, что этого делать не надо.

– Оставлю...

– Спасибо.

Как раз там, где во время войны проходила финская оборонительная линия, соединяющая Финский залив и Ладожское озеро, в семидесяти километрах от города у них с Леной была дачка. Вполне себе зимний домик на берегу озера с прилегающими к нему шестью стандартными сотками. Присутствовала даже баня. Соседний лес поставлял грибы и бруснику в пока еще приличном количестве. Чиненый-перечиненый, но крепенький мопед с полным баком ждал в гараже.

Прямо по этим местам проходила оборона, которую финны называли VT-линия. Буквы «V» и «Т» – первые буквы названий поселков Ваммелсуу и Тайпале. Ваммелсуу, теперь Серово, находится на берегу залива. Ну а Тайпале, ныне Соловьево, соответственно – у Ладожского озера.

Война оставила после себя противотанковые завалы серо-черных гранитных камней, кое-где – надолбы с ржавой колючкой и замысловатые сети окопов, поросших травой и вереском. Замерзших в окопах солдат сменили облюбовавшие ямы грибы-подосиновики, а кучерявые зеленые мхи, по-

крывшие камни, стали хорошими примерами жизнелюбия. Сейчас же это место казалось ему почти спасением от бытовухи и соблазнов одновременно. Ольховскому хотелось, чтобы малолетняя красотка какое-то время не попадалась ему на глаза: во время ее присутствия он чувствовал в себе ненужное напряжение. Не очень-то удобно думать о бытовых вещах, когда перед глазами то и дело проплывает туда и обратно острогрудая гостья.

Хотя ведь и одиночества Ольховский тоже не любил. Точнее говоря, любил, но так, чтобы от него можно было избавиться, просто зайдя в соседнюю комнату. С появлением в квартире волнующей взор постоялицы, зайдя в соседнюю комнату, он чувствовал себя одиноким вдвойне.

Они лежали рядом, и Ольховский, как обычно, не понимал, что происходит на экране. Последнее время он все время думал об одном и том же: что бы было, если бы на месте умытой ко сну, стерильной Лены в выстиранной пижаме лежала бы другая женщина. Нет, не женщина, женщина – это тяжелое и серьезное, как дорогой автомобиль... Девушка? Холодно-отстраненное «девушка» вряд ли может лежать рядом с таким персонажем, как Ольховский.

Тогда – девочка? Тут фантазия разгуливается! Звонящий звонком легкий велосипед, пролетающий по весенним лужам! Голые ноги, забрызганные пятнышками грязи. Розово-арбузный румянец, несмотря на выкуренные тайком сигареты.

Только вот что с ней еще делать, кроме того, что девочки, пусть даже с некоторой неопытностью, делают лучше всех?

Поэтому на место Лены возвращается Лена. На еще не остывшем в памяти пепелище вчерашних страстей ему вдруг понадобилась хотя бы жена. Остальное Ольховский, талантливый художник, дорисует в сознании... Лена ему понадобилась чисто механически, чтобы не грешить подростковыми привычками. Механическая Лена. Заводная...

Он скосил глаза на нее. Телевизор мелькает, и мелькают отблески от экрана на ее лице. Она, кажется, увлечена передачей. Даже если ее попросить (что, вообще-то, уже отвратительно), она лениво повернется на бок, вздохнет и, оголив грудь, будет водить рукою вверх-вниз, подглядывая за происходящим в теляшике. Ему надоест, и он ей поможет. Потом настанет пустота, как будто все вывернули наизнанку.

Нет, так случается далеко не всегда. Но одно то, что бывает и так, повергает Ольховского в тоску, и, когда рисуются такие перспективы, он ее ни о чем не просит, что не мешает ему на нее злиться. И опять он описывал в голове круги и траектории: «женщина», «девушка», «девочка»... Ах... И опять возвращался к Лене.

– Ты будешь смотреть? – вдруг спрашивает она. На его отрицательный жест щелкает пультом. В комнате воцаряется тишина и темнота, в первые секунды кажущаяся крошечной. Потом Ольховскому слышно, как Лена устраивается удобнее, головой делает ямку в подушке. Иногда она, если

у нее хорошее настроение, приобнимет его рукой, хотя он двадцать лет не может ей объяснить, что после этого жеста мужчина ждет продолжения.

— А как же ласка? — недоумевает она, и этим жестом будит в нем мужское.

Сегодня не так. Он лежал в темноте, и желание отступало. Если мысли слышны на небе, о чем написано в религиозных книгах, то там, на небе, его обитателям пришлось бы стыдливо закрыть уши, чтобы мысли Ольховского не долетали до них. Утешает то, что к сорока годам он понял: он такой не один. Более того, таких большинство, стоит ли беспокоиться? Если и за такие мысли попадают в ад, то это несправедливо... Ад, в конце концов, тоже не резиновый!

* * *

В этом году весна выдалась поздней, такой весны Ольховский даже не припоминал. Казалось бы, почти июнь, а листва еще воздушная и нежная, совсем как в начале мая. Кусты вдоль железки, где проходит тропинка к дому, просвечивают.

Он любил приезжать сюда на электричке, не тратя лишние эмоции на то, что отвлекало его от созерцания. Не надо давить газ, крутить руль и следить за дорогой. Из окна вагона, отвлекшись от книги, можно поглядеть на озера, лежащие по обе стороны дороги, где, несмотря на понедельник, пыта-

ются загорать белые фигуры в цветных купальниках. Видны даже редкие головы купальщиков, но это пока почти что герои: воде еще только предстоит прогреться.

Даже выйти через час езды на платформу – какое-то свое, не сравнимое ни с каким другим удовольствие. Первый глоток воздуха – как первая затяжка для курильщика. Потом он привыкал, хотя воздух все равно имел неповторимый запах мелкого сухого песка и сосновых иголок. А потом – вот эта дорожка, по которой Ольховский ходил уже без малого сорок лет. Без малого потому, что какое-то время, не умея ходить, он проделывал этот путь в коляске.

Теперь, спустя много лет, Ольховский радовался, что Лена так и не прониклась таким типом отдыха. Отсутствие ванной комнаты сокращало Ленино пребывание здесь до трех-четырех дней. И ни о каком отпуске на даче никогда не было речи с тех пор, как Димка подрос и мог сам устраивать себе прогулки на свежем воздухе. Она, старательная мать, отважно мучила себя каждое лето, пока Димка был маленьким. Сам Димка к даче тоже охладел. Компьютерные дети двадцать первого века не тяготеют к природе. А может быть, просто возраст такой...

Одно время дача была местом, куда Ольховский бежал от семейных ссор. Чем дольше они жили, тем меньше ссорились. Для ссор не было поводов. Поводы для ссор случаются чаще при совместной жизни, чем при той, которую вели они. У каждого свои деньги и дела и общая, да и то не всегда, еда

в холодильнике. Бежать стало ни к чему, и Ольховский тоже стал посещать дачу разве что на те самые два, три, четыре дня – дальше он от одиночества принимался разговаривать сам с собой.

Пять лет назад, после смерти тещи, они продали ее квартиру, и на них с Леной обрушились некоторые деньги. Деньги были не те, которые, обрушившись, могли бы серьезно осчастливить, но, непристроенные, они беспокоили Лену своим наличием. Часть из них была пущена на обустройство загородной жизни. Ольховский своими руками перестроил дом и поставил на участке баню. Наличие бани отнюдь не означало, что Лена будет появляться здесь чаще, нет! Просто в таком виде участок с приличным домом превращался во вполне конвертируемую собственность. Его можно было продать.

Легкая, порой легкомысленная в смысле денег Лена успокоилась. Деньги больше не жгли ей карман и были вложены в, казалось ей, хорошее дело. Даже неважно, что это хорошее дело она навещала раза три-четыре в год.

Ольховский оказался единственным регулярным пользователем дачи и отвечающим за ее состояние лицом, хотя, перестроенная, она не требовала к себе особого внимания. Он отдал один из ключей соседу по улице, живущему здесь круглый год, и, если они с Леной собирались приехать зимой, а вот это она любила, Ольховский звонил ему и просил воткнуть в розетку специальные обогреватели. Когда они

приезжали через несколько часов, температура внутри была уже плюсовая и можно было спокойно топить печь. Если же Ольховский приезжал летом, то соседа сторонился. Вразумительную плату за свои услуги сосед не брал, а вот выпить с Сергеем считал делом обязательным. У Ольховского же отношения с пьянством натянулись. Выпить так, чтобы наутро не оставалось следов, уже не получалось – весь следующий день был потерян для созидания. Он же слишком ценил свое время, чтобы быть только созерцателем.

Отперев калитку, Сергей прошел по дорожке, поднялся на крыльцо, открыл дом. В прихожей было темно и прохладно, под ногами валялась стоптанная летняя обувь, пахло печью. Пройдя на веранду, он поставил рюкзак на пол и зажег мутную лампочку под потолком. Потом прошел к колодцу на участке, опустил в черную пустоту дребезжащее ведро, зачерпнул и со скрипом достал потяжелевшую жестянку с дрожащим отражением на поверхности. Вернувшись, наполнил электрический чайник и, опустив кнопку, услышал, как чайник загудел.

Оставшись один и лишившись внешних раздражителей, он почти автоматически мысленно возвращался к своему роману. Рукопись, по его расчетам, перевалила за половину, и он был доволен тем, что в перспективе рукопись придется не растягивать, потому как она мала, а укорачивать. Это всегда являлось для него своеобразным удовольствием.

Когда-то, узнав о том, что это творчество Ольховского не

приносит особых финансовых выгод, знакомые спрашивали его о смысле и мотивациях. Он не знал, что им отвечать. Это было тем делом, которое ему нравилось делать хорошо. В нем, в этом деле, у Ольховского была потребность – такая же, как дышать и двигаться. Сидя за рабочим столом, он чувствовал себя на своем месте. Пораздив руками, знакомые успокоились. Ольховский не сказал им всей правды: еще у него были амбиции. Ему хотелось чего-то большего, чем тысяча расписанных фигурок и десятки дегенеративных походов в бордель.

* * *

Становились сумерки. Он распахнул по кухне привезенную провизию, сыпанул чая в кружку, залил кипятком и вышел на крыльцо. В полутьме, покачиваясь, призрачно белели шапки сирени. Где-то далеко, едва слышная, стучала автомобильная музыка. Окно соседа через дом ярко горело. Заходить к нему не стоило: сосед сам, только заведя свет в доме Ольховского, скромно и бесшумно подойдет к калитке с неизбежной бутылкой. В их с соседом случае платой за услуги по содержанию дома был сам Ольховский.

Звали соседа Коля. Сергей о нем почти ничего не знал. Ни фамилии, ни отчества... Даже возраст его можно было предположить очень приблизительно – по крайней мере со времени детства Ольховского он не сильно изменился. По

логике ему было лет семьдесят, вряд ли больше, но тогда каким образом и тридцать лет назад он выглядел примерно так же? Жены у него не было, она ушла от него в какие-то бородатые времена, забрав дочь. О причинах этого поступка Ольховский не знал – знал, что дочь нередко навещает Колю и, когда она приезжает к нему, он ходит во всем чистом и с чистой снаружи головой, пьяненький и довольный. Выпивает он теперь вроде бы нечасто, но что он делает у себя в кособоком домишке один всю зиму, предположить было сложно. Себе он даже дорожки не чистит – от калитки к его дому зимой ведет кривая, узенькая тропка, упирающаяся в крыльцо. Зато Ольховскому – пожалуйста. Однажды он дал Коле пятьсот рублей, Коля сбегал в магазин и принес сдачу. Ольховский, конечно, отказывался. Коля не уступал. Потом пригрозил: «Не возьмешь – я больше к твоей калитке не подойду». Пришлось взять.

Несколько лет назад выяснилось: зимой Коля читает! Ольховский зашел к нему по какой-то нужде, они разговорились, стоя на развалинах его веранды. На столе Сергей увидел косо лежащую, как будто только оставленную книгу Карамзина, всем известную «Историю государства Российского».

– Хорошая книга. Я потому ее медленно читаю – не хочу расставаться с ней... – В голосе соседа можно было услышать нотки нежности. Сергею даже стало немного стыдно за то, что он не мог предположить в Коле хоть какой-то глубины.

Незаметно они переместились в убитую, убогую комнату

с вонючими одеялами и яичной скорлупой в блюде с окурками, и Коля продемонстрировал свою литературную гостиную. На первый взгляд могло сложиться впечатление, что книги Коля собирал на помойке. Книги были распухшими от влаги, с пожелтевшими страницами и отклеивающимися корешками. Есенин и Гиляровский, Лев Толстой и Короленко, Чехов и Куприн... Шолохов и Паустовский.

– Вот моя библиотека... – Он провел рукой, не касаясь, вдоль полок.

Ольховский кивнул:

– Ого!

– Вот тебе и ого! А ты думал! Мы тут сами с усами.

Ольховский не нашелся что ответить.

Автомусыка заглохла, и мир погрузился в тишину. Потом со стороны калитки Ольховский услышал тихий свист. Улыбнувшись про себя, пошел открывать.

– Чего ты не зашел-то? – спросил Коля, когда Сергей впустил его в дом. Его шаги в кирзачах тяжело падали на пол веранды. Поверх пропахшей потом рубахи на плечи был небрежно наброшен ватник. К влажному лбу прилипли жидкие волосы.

– Да пока приехал... – оправдался Ольховский не уточняя.

– А-а... – Он обзрел взглядом веранду, словно бы что-то искал. – Может, это... Посидим немного? С апреля не виделись. Твоя-то в городе?

«Твоей» Коля стеснялся. Даже если она выходила к нему, когда он ждал возле калитки, никогда не проходил в дом и просил Лену, чтобы она позвала «Серегу».

– В городе.

– Слушай-ка, ну как ты насчет посидеть? – торопился он, щелкая себя пальцем по небритому кадыку.

– Да магазины закрыты уже... – лениво и зря отбивался Ольховский.

– Ну дак... Это... У меня припасена бутылка-то на такой генеральский счет.

– Чего от семьи-то сбежал? – пытал Коля, когда они, стукнувшись рюмками, закусили хлебом и свежим луком.

– Работают все, – ответил Ольховский.

Коля кивнул, собирая по столу крошки подушечкой пальца и отправляя их в рот:

– Да-а...

Видно было, что, не ожидая приезда Ольховского, Коля не подготовился к разговору – Сергей же по скверному своему характеру наблюдал, как тот выберется из ситуации, вместо того чтобы помочь.

– Да-а... – еще раз вымолвил Коля. В тишине было слышно, как в стекло бьется большая муха с меднокупоросовыми боками.

Ольховский даже наслаждался тем, как тяжело и неловко переживает молчание сосед. Тот долго изучал свои пыльные

сапоги и шумно вздыхал, наконец нащупал веревочку:

– Димка как?

– Бабу привел, – усмехнулся Сергей.

– Да ну? Жить? – возбудился Коля, наливая по второй.

– Да пока что нет, к счастью.

– Ты смотри какой, а! Только вот недавно твоя его в коляске возила... Ай-яй-яй... – сокрушался он. То ли тому, что Димка уже бабу привел, то ли просто тому, как летит время.

– Баба-то хорошая? Молоденькая?

– Девка, – подтвердил Ольховский. – Хорошая.

– Ну тогда пускай! А то, слушай-ка, ты так сказал «бабу» – я подумал, что тетку какую-то. Может, и с ребенком, – вдруг виновато рассмеялся Коля, чувствуя, что переступил порог деликатности.

– Ровесницу.

– Ну а чего ты тогда грустишь-то?

– Да больно хороша! – Ольховскому показалось, что он пошутил. Коле – нет, так не показалось.

– Ну-у! – Он сдвинул брови. – А твоя-то на что?

– В смысле? – не понял Сергей.

– У него своя, у тебя своя... Или твоя что, не дает?

– Дает, – реабилитировал жену Сергей.

– Ну так а что ты тогда?

Видно, классическая литература пошла ему впрок по части гуманистических учений о семье и браке. А главное, о верности! О том, что «красота спасет мир», Коля, кажется,

еще не прочел. Или не так понял.

Бутылка кончилась раньше, чем он стал утомлять Сергея. Бежать за второй было, к счастью, некуда, и они вполне себе чинно разошлись, не разочаровавшись друг в друге. При этом деревенская логика Николая тронула Ольховского своей незамысловатой формулой. Что-то подобное он слышал от одного из своих приятелей, когда разговор зашел о продажной любви.

– Зачем я буду бабки платить, когда у меня своя под боком?

«Своя» имела сто с лишним килограммов неряшливой красоты, да и приятель был неуклюжий и непритязательный. В эстетике он не нуждался ни в постели, ни в жизни вообще – о чем тогда...

* * *

Утром Ольховский, набрав колодезной воды в пустой желудок, набросив на плечо махровое полотенце прошлогодней чистоты и известной затхлости, направился к озеру. Лечиться надо было как можно скорее.

Вода подействовала отрезвляюще, как вдох нашатыря. Спустя секунд двадцать тело расслабилось, и Ольховский, широко загребая воду, поплыл от берега. Опустил в воду лицо, чувствуя, как его облепляет ледяная маска. Потом прошло и это.

После купания Ольховский сидел на нагретом уже песке до тех пор, пока на озере не было ни души, чувствуя себя героем. Слишком холодной казалась ему непрогретая озерная вода. Потом пришли две старушки с жабыми фигурами в купальниках и халатах поверх. За ними вяленный дед в купальной шапочке.

Ольховскому стало смешно самого себя, и он поднялся с песка.

Он возвращался другим путем – их несколько, тех, что ведут узенькими дорожками между дачными домиками, вся разница в том, где свернуть. Пройдя по хребту песчаной горки со стоящей дыбом шерсткой свежей травы, он спустился к пожарному пруду. Здесь, в желтом доме напротив пруда, полжизни назад жила девушка с глазами разного цвета. Какое-то непродолжительное время он был в нее влюблен. Ей был двадцать один год, ему – восемнадцать. Около трех или четырех месяцев они зачем-то встречались. Гуляли, выпивали по чуть-чуть... Делали юношеский, неопытный и прекрасный секс. Ольховский тогда как-то не ценил всего этого: ему казалось, что у него все впереди! На деле – впереди было много чего, очень много, только качество того, что впереди, не повышалось, увы. И разноцветных глаз в жизни он больше не встретил – хотя вроде и не жалеет об этом.

«Я тебя не люблю», – сказала она. Они сидели в городской квартире Ольховского, на кухне. Был первый или второй день нового года. Перед ними символом взрослой жизни

стояла начатая бутылка коньяка.

Он сделал глоток прямо из горлышка.

Как сладко: «Я тебя не люблю»! Многое он отдал бы сейчас за такое: «Я тебя не люблю»! Она была гордая и трагическая – разноглазый взгляд был направлен сквозь него. Она тоже храбро глотнула из бутылки и повторила приговор.

А сейчас? Есть тот человек, который мог бы сказать такое Ольховскому с полным правом? То-то!

Она, конечно, давно вышла замуж и родила какое-то неважное количество малышей – узнать это ему помогли соцсети, но живую он не видел ее с самого того дня, на кухне... Он проводил ее в снег – была зима. Шли молча.

– О, кажется, мой! – фальшиво оживилась она, когда увидела вдалеке сквозь снег огоньки троллейбуса. Помпоны на завязках ее зимней шапки покачивались – это он хорошо помнил!

– Ну... – пробормотал он, надеясь, что она передумает.

– Пока... – Она, конечно, не поцеловала его, как обычно.

Ольховский махнул ей, вошедшей в освещенное нутро. Она не заметила...

Боль была сладкой и запоминающейся. Ее хотелось переживать снова и снова.

Желтый дом пуст уже который год, и на калитке, защищенный от влаги обрезком пластиковой бутылки, ржавел замок. Ольховского уже не интересует эта тайна: он никогда больше не услышит от этой женщины признание в нелюбви.

В этих второстепенных воспоминаниях он добрался до дома. Бросил полотенце. Торопливо сварил кофе и съел пару яиц на веранде. Прибравшись, уселся за работу.

Раньше Ольховскому казалось, что он писал от полноты жизни и желания этой полнотой поделиться. Потом, по мере взросления, полноту жизни частично заменил профессионализм, хотя это «потом» и растянулось лет на десять. Теперь он понимал, что можно творить и на голом профессионализме, и окружающие могут даже этого не замечать, но удовольствия от такой работы было меньше в разы.

Полнота жизни сузилась до размеров квартиры или дачи. И здесь и там даже одиночество было неполноценным.

А он задумал большой и многолюдный роман. И сейчас, когда Ольховский писал о взаимоотношениях героев, он вспоминал Настю. На ближайшие два абзаца она наполняла его надеждой, и среди одинаковых стад одинаковых серых слов начинали встречаться красивые, необычные экземпляры. Через два абзаца тщетность надежды на Настю обретала ясность, и он цеплялся за другие, уже много раз использованные образы, и оттого героиня тут же становилась похожа на прошлых героинь его книг. Потом опять – как вспышка – появлялись то ее слово, сказанное Димке, то ее влажные следы на линолеуме, и герою везло, ибо его партнерша оживала.

Лику он пытался не вспоминать.

Когда-то ему не хватало скорости письма, чтобы записать задуманное, а теперь хватало вполне. Он не стал быстрее пи-

сать — он стал медленнее думать.

Оторвавшись от экрана через три часа, он был почти доволен сделанным. Только теперь сам процесс доставлял ему куда меньше удовольствия.

Ольховский захлопнул калитку и снова направился к озеру. Прошел желтый дом, миновал еще десятки разноцветных, пустых в большинстве своем. Потом вдоль озера вышел на грунтовку и с нее уже свернул в лес.

Воздушная юная зелень чуть колыхалась на ветру. По-весеннему вразнобой кричали птицы. Вдалеке глухо, как за стеной, щедро отмеряя столетия, работала кукушка.

Там, дальше, на перекрестке лесных дорог, следопыты установили памятный камень: в июне сорок четвертого финны были окончательно изгнаны с этих земель. Еще в лесу есть несколько безымянных могил, скупая информация на них гласит: «Красноармеец. Погиб в бою». Раньше это были просто холмики земли, выцарапанный крест на сосне и маленькая табличка. Теперь активисты превратили холмики в кладбище. Привезли надгробия, кресты... Ольховский считал, что они вполне могли ограничиться камнем. Он судил по себе: глядя на холмик и табличку, ему становилось грустно. Теперь, наблюдая за тем, как неловко живетсЯ товарам из магазина ритуальных услуг в веселом лесу, он испытывал недоумение. Хотя свои предположения высказывал только Димке и жене. Очень хорошо рассуждать там, где ничего не делаешь.

Вдоль болота и дальше в лес уходила гряда гранитных противотанковых булыжников, где-то заканчиваясь, потом появлялась снова. Они примерно одинакового размера: человеку по пояс, редкие – по грудь. Замшелые снизу, обросли, словно бородами. Лучшего памятника и придумать нельзя... Если забраться пониже, к болоту, то в мелком колючем ельнике можно наткнуться на до сих пор торчащие из земли гнилые клыки надолбов, опутанные ржавой колючей проволокой.

Сухая тропа, пересеченная тут и там сосновыми корнями, уходила вглубь, где начинался низкий хвойный лес, в котором было прохладно и безветренно.

Камни вдоль тропы кончились, сама же тропа выводила прямо к перекрестку. Показался и памятник с вделанной в него табличкой. Рядом – ржавые предметы, приветы той далекой войны: коробка от пулеметных лент для максима, две советские полусгнившие каски, хвост минометной мины, несколько осколков и россыпь гильз. Из современного – пошлые пластмассовые гвоздики. Они лежали с прошлого, очевидно, года – выцвели, побелели. Мусорные баки любого кладбища полны этой дряни...

Через дорогу, сквозь юную зелень, белели могилы. Спустя несколько лет этой войне стукнет юбилей – восемьдесят. Очевидно, что доброхоты будут ее поздравлять – опять ворошить преданные земле, ставшие уже самой землей кости... Как страшно умирать в этих местах в июне...

Непуганые, заливались птицы. Человеку здесь делать было нечего. Немногим позже начнется черника и потом грибы. Тогда – дело другое. Сейчас можно встретить здесь только поджарых от дальних прогулок собачников в сопровождении питомцев огромного, обычно, размера. И ни один пес не будет обращать на Ольховского никакого внимания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.